Октябрь

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

★

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ:

Анри БАРБЮС — Халлали
Анна КАРАВАЕВА — Лесозавод
Мих. ШОЛОХОВ — Тихий Дон

СТИХИ:
Л. Архангельского-Брянского, Джека Алтаузена, М. Светлова, В. Маяковского

ЖИЗНЬ НА ХОДУ: Н. Дорофеев — В новом доме

ЛИТЕРАТУРА:

Л. Мышковская — Как Толстой работал над историческим произведением

Б. Буачидзе — Грузинская пролетарская литература

БИБЛИОГРАФИЯ

КНИГА 6

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОКТЯБРЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ
ВСЕСОЮЗНОЙ И МОСКОВСКОЙ
АССОЦИАЦИЙ
ПРОЛЕТАРСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ

★

КНИГА ШЕСТАЯ

ИЮНЬ 1928

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
МОСКВА * ЛЕНИНГРАД

ТИХИЙ ДОН

(Роман)

*

МИХ. ШОЛОХОВ

(Продолжение)

V

СБОЧЬ хутора Татарского, по небу, изморщиненному седой облачной рябью, колесило осеннее солнце. Там вверху тихий ветерок лишь слегка подталкивал тучи, сплавляя их на запад, а над хутором, над темно-зеленой равниной Дона, над голыми лесами, бил он мощными струями, гнул вершины верб и тополей, взрыхлял Дон, гнал по улицам табуны рыжих листьев. На христонином гумне взлохматился плохо свершённый скирд пшеничной соломы, ветер, вгрызаясь, подрыл ему вершину, свалил тонкую жердь, и вдруг, подхватив золотое беремя соломы, как на навильнике, понес его над базом, завертел над улицей и, щедро посыпав пустую дорогу, кинул ощетиненный ворох на крышу Степана Астахова куреня. Христонина жена, простоволосая, выскочила на баз, зажимая коленками юбку, поглядела, как ветер хозяйничает на гумне, и опять ушла в сенцы.

Третий год войны заметно сказывался на хозяйстве хутора. Те дворы, где не осталось казаков, щерились раскрытыми сараями, обветшалыми базами, постепенное разрушение оставляло на них свои неприглядные следы. Христонина жена хозяйствовала с девятилетним сынишкой; аникушкина баба совсем не хозяйствовала, а по жалмерскому своему положению усиленно ухаживала за собой: румянилась, наводила красоту и за недостатком взрослых казаков принимала ребятишек лет по четырнадцати и больше, о чем красноречиво свидетельствовали досчатые ворота, в свое время обильно измазанные дегтем и досель хранившие бурые обличающие следы. Курень Степана Астахова пустовал, окна перед уходом забил хозяин досками, крыша местами ввалилась, поросла лопушатником, на дверях ржавел замок, а в раскрытые ворота база, непролазно заросшего бурьяном и лебедой, заходила в любое время люблудная скотина, ища приюта от жары или непогоды. У Томи-

лина Ивана падала на улицу стена хаты, держала ее врытая в землю рогатая подпорка, — видно, мстила лихому артиллеристу судьба за те немецкие и русские домики, которые разрушил он по должности наводчика ставя на прицел и на удар.

И так по всем улицам и переулкам хутора. В нижнем конце лишь у Пантелея Прокофьевича по-настоящему выглядел баз: все справно, целостно, но и то не во всем. На крыше амбара попадали от ветхости жестяные петухи, скособочился амбар, некоторую бесхозяйственность мог приметить опытный глаз. До всего не доходили руки старика, посев уменьшался, а про остальное уже и говорить нечего; лишь семья мелеховская не уменьшились числом: взамен Петра и Григория, таскавшихся по фронтам, в начале осени прошлого года родила Наталья двойню. Ухитрилась угодить свекрам, родив мальчика и девочку. Беременность Наталья переносила болезненно, иногда ей целыми днями нельзя было ходить из-за мучительных болей в ногах, двигалась, приволакивая ногу, морщась, но боль переносила стойко, — на смуглом, похудевшем и счастливом лице никогда она не отражалась. В минуты, когда особенно сводило ноги, на висках у нее бисером проступал пот; лишь по этому догадывалась Ильинична; качая головой, ругалась:

— Ляжь ты, окаян-на-я! Што ты себя мордуешь?

В ясный сентябрьский день Наталья, почувствовав приближение родов, вышла на улицу.

— Ты куда это? — спросила свекровь.

— В займище. Проведаю коров.

Наталья торопливо вышла за хутор, оглядываясь, стоная, придерживая руками низ живота, забралась в густую заросль дикого терна и легла. Уже стемнело, когда она задами пробралась домой. В холщевой завеске принесла двойнят.

— Милушка моя! Проклятая! Што ж ты это?... Иде ж ты была? — заголосила Ильинична.

— Я от стыда ушла... Батю не смела... Я чистая, маманя, и их искупала... Возьмите...—бледнея, оправдывалась Наталья.

Дуняшка кинулась за бабкой-повитухой. Дарья суетилась, застилая решето, а Ильинична, смеясь и плача, выкрикивала:

— Дашка! Брось ты решето! Котяты они, што ли, што ты их в решето?.. Господи, да двое их! Ой, господи, парнишка один!.. Натальюшка!.. Да постелите ей!..

Пантелей Прокофьевич, услышав на базу о том, что сноха разрешилась двойней, вначале руками развел, потом обрадованно, потурсучив бороду, заплакал и ни с того, ни с сего накричал на подоспевшую бабку-повитуху:

— Брешешь, канунница! — тряс он перед носом старухи когтистым пальцем. — Брешешь! Ишю не зараз переведется мелеховская порода! Казака с девкой подарила сноха. Вот сноха — так сноха! Господи, бож-жа мой! За такую-то милость чем я ей, душеньке, отхвитаю?

Урожайный был тот год: корова отелила двойню, к михайлову дню овцы окотили по двойне, козы... Пантелей Прокофьевич, дивясь такому случаю, сам с собою рассуждал:

«Счастливый ноне год, накладистый! Кругом двоится. Теперича приплоду у нас... ого-го!»

Наталья кормила детей грудью до года. В сентябре отняла их, но не оправилась до глубокой осени; на похудевшем лице молочно блестели зубы, да теплым парным блеском светились, от худобы казавшиеся чрезмерно большими, глаза. Всю жизнь вбизала в детей, стала неряшливей к себе, все время, свободное от работы по домашности, тратила на них: мыла, стирала, вязала, штопала и часто, примостившись боком к кровати, свесив ногу, брала из люльки двойнят и, движением плечей высвобождая из просторной рубахи туго налитые, большие, беложелтые, как дыни, груди, кормила сразу обоих.

— Они тебя и так вытянули всю. Часто дюже кормишь! — шлепала Ильинична полные, в складках, ножонки внучат.

— Корми! Не жалей молока! Тебе ево не на каймак сбирать, — с ревнивой грубоватостью вступался Пантелей Прокофьевич.

В эти годы шла жизнь на сбыв — как полая вода в Дону. Скучные, томились дни и, чередуясь, проходили неприметно, в постоянной толчее, в работе, в нуждишках, в малых радостях и большой неусыпной тревоге за тех, кто был на войне. От Петра и Григория приходили из действующей армии редкие письма в конвертах, измусленных и запятнанных почтовыми штемпелями. Последнее письмо Григория побывало в чьих-то руках: половина письма была аккуратно затушевана фиолетовыми чернилами, а на полях серой бумаги стоял непонятный чернильный значок. Петр писал чаще Григория и в письмах, адресованных на Дарью, просил ее и грозил бросить баловство, — видно, слухи о вольном житье жены доходили и до него. Григорий вместе с письмами пересылал домой деньги — жалованье и «крестовые», сулил в отпуск притти, но что-то не шел. Дороги братьев растекались врозь: гнула Григория война, высасывала из лица румянец, красила его желтой желчью, не чаял конца войны дождаться, а Петро быстро и гладко шел в гору, получил под осень шестнадцатого года вахмистра, заработал, подлизываясь к командиру сотни, два креста и уже поговаривал в письмах о том, что бьется над тем, чтобы послали его подучиться в офицерскую школу. Летом с Аникушкой, приходившим в отпуск, прислал домой немецкую

каску, шинель и свою фотографическую карточку. С серого куска картона самодовольно глядело постаревшее лицо его, торчмя стояли закрученные белесые усы, под курносым носом знакомой улыбкой щерились твердые губы. Сама жизнь улыбалась Петру, а война радовала потому, что открывала перспективы необыкновенные: ему ли, простому казаку, с мальства крутившему хвосты быкам, было думать об офицерстве и иной сладкой жизни? А вот полыхнула война—и в зареве ее отчетливо завиднелась будущая привольная жизнь. . С одного лишь края являла петрова жизнь неприглядную щербатину: ходили по хутору дурные про жену слухи. Степан Астахов был в отпуске осенью этого года и, вернувшись в полк, бахвалился перед всей сотней о том, что славно пожил он с петровой жалмеркой. Не верил Петро, слушая рассказы товарищей, темнея лицом, улыбался, говорил:

— Брешет Степка! Это он за Гришку мне солит.

Но однажды, случайно ли, или нарочно, выходя из окопной землянки, обронил Степан вышитую утирку; следом за ним шел Петро, поднял кружевную искусно расшитую утирку и угадал в ней рукоделье жены. Вновь в калмыцкий узелок завязалась злоба меж Петром и Степаном. Случай стерег Петро, смерть стерегла Степана, — лежать бы ему на берегу Двины с петровой отметиной на черепе. Но вскоре так случилось, что пошел Степан охотником снимать немецкую заставу и не вернулся. Рассказывали казаки, ходившие с ним, будто услыхал немецкий часовой, что режут они проволочные заграждения, кинул гранату; успели казаки прорваться к нему, кулаком сшиб с ног Степан немца-часового, а подчасок выстрелил в него, и упал Степан. Казаки закололи подчаска, обеспамятевшего немца, сбитого степановой кулачной свинчаткой, уволокли, а Степана подняли-было, хотели унести, но тяжел оказался казак, — пришлось бросить. Просил раненый Степан: «Братцы! Не дайте пропасть! Товарищи! Што ж вы меня бросаете?..», — но брызнула тут по проволоке пулеметная струя, и уползли казаки. «Станишники! Братцы!», — кричал вслед Степан, да где уж там?—своя рубашка, а не чужая к телу липнет. После того как услышал Петро про Степана, полегчало, словно садную болячку сурчиным жиром смазали, но все же решил: «Пойду в отпуск, — кровь из Дашки выну! Я не Степан, так не спущу...», — подумал-было убить ее, но сейчас же отверг эту мысль: «Убей гадюку, а через нее вся жизнь спортится. В тюрьме сгниешь, все труды пропадут, всево лишишься...». Просто решил избить, но так, чтобы на всю жизнь отбило у бабы охоту хвост трепать: «Глаз выбью ей, змее, — чорт на нее тогда позавидует». Так придумывал Петро, отсиживаясь в окопах, неподалеку от крутоглинистого берега Двины.

Мяла деревья и травы осень, жгли их утренники, холодела земля, чернели, удлиняясь, осенние ночи. В окопах отбывали наряды, стреляли по неприятелю, ругались с вахмистрами за теплое обмундирование, впроголодь ели, но не сходила у всех с ума далекая от неласковой польской земли Донщина.

А Дарья Мелехова в эту осень наверстывала за всю голодную безмужнюю жизнь. На первый день Покрова Пантелей Прокофьевич проснулся, как и всегда, раньше всех, вышел на баз и за голову ухватился: ворота, снятые с петель чьими-то озорными руками и отнесенные на середину улицы, лежали поперек дороги. Это был позор. Ворота старик сейчас же водворил на место, а после завтрака позвал Дарью в летнюю стряпку. О чем он с ней говорил — неизвестно, но Дуняшка видела, как спустя несколько минут Дарья выскочила из стряпки с сбитым на плечи платком, растрепанная и в слезах. Проходя мимо Дуняшки, она ёжила плечи, крутые черные дуги бровей дрожали на ее заплаканном и злом лице.

— Подожди, проклятый!.. Я тебе припомню! — цедила она сквозь вспухшие губы.

Кофточка на спине ее была разорвана, виднелся на белом теле багрово-синий свежий подтёк. Дарья, мигнув подолом, взбежала на крыльцо куреня, скрылась в сенях, а из стряпки похромал Пантелей Прокофьевич, злой, как чорт. Он на ходу слаживал вчетверо новыеременные вожжи. Дуняшка услышала сиповатый отцов голос:

— ...Тебе, сучке, не так надо бы ввалить!.. Потаскуха!..

Порядок в курене был водворен. Несколько дней Дарья ходила тише воды, ниже травы, по вечерам раньше всех ложилась спать, на сочувственные взгляды Натальи холодно улыбалась, вздергивала плечом и бровью: «ничего, дескать, посмотрим», а на четвертый день и произошел этот случай, о котором знали лишь Дарья да Пантелей Прокофьевич. Дарья после торжествующе посмеивалась, а старик целую неделю ходил смущенный, растерянный, будто нашкодивший кот; старухе он не сказал о случившемся и даже на исповеди утаил от отца Виссариона и случай этот и греховные свои мысли после него.

Дело было так: незадолгим после Покрова Пантелей Прокофьевич, уверовавший в окончательное исправление Дарьи, говорил Ильиничне:

— Ты Дашку не милуй! Нехай побольше работы несет. За делами некогда будет блудить-та, а то она — гладкая кобыла... У ней только што на уме игрища да улица.

С этой целью он заставил Дарью вычистить гумно, прибрать на заднем базу деляну старых дров, вместе с ней чистил мякинник. Уже

перед вечером надумали перенести веялку из-под сарая в мякинник, позвал сноху.

— Дарья!

— Чево, батя? — откликнулась та из мякинника.

— Иди веялку перенесем.

Оправляя платок, отряхиваясь от мякинной трухи, насыпавшейся за воротник кофты, Дарья вышла из дверей мякинника и через гуменные воротца пошла к сараю. Пантелей Прокофьевич, одетый в ватный расхожий сюртук и рваные шаровары, хромал впереди нее. На базу было пусто. Дуняшка с матерью пряли осенней чески шерсть, Наталья ставила к завтраму тесто. За хутором рдяно догорала заря, звонили к вечерне. В прозрачном небе, в зените стояло малиновое недвижное облачко, за Доном на голых ветках седоватых тополей черными горелыми хлопьями висели грачи. В ломкой пустозвучной тишине вечера был четок и выверенно-строг каждый звук. Со скотиньего база тек тяжкий запах парного навоза и сена. Пантелей Прокофьевич, покряхтывая, внес с Дарьей в мякинник вылинявшую рыже-красную веялку, установил ее в углу, сдвинул граблями ссыпавшуюся из вороха мякину и собрался выходить.

— Батя! — низким, пришептывающим голосом окликнула его Дарья.

Он шагнул за веялку, ничего не подозревая, спросил:

— Чево тут?

Дарья в распахнутой кофте стояла лицом к нему, закинув за голову руки, поправляла волосы. На нее из щели в стене мякинника падал кровяной закатный луч.

— Тут вот, батя, штой-то... Подойди-ка, глянь, — говорила она, перегинаясь на бок и воровски, из-за плеча свекра, поглядывая на распахнутую дверь. Старик подошел к ней вплотную. Дарья вдруг вскинула руки и, охватив шею свекра, скрестив пальцы, пятилась назад, увлекая его за собой, шепча:

— Вот тут, батя... Тут... мягко...

— Ты чевой-то? — испуганно спрашивал Пантелей Прокофьевич.

Вертя головой, он попытался освободить шею от дарьиных рук, но она притягивала его голову к своему лицу все сильнее, дышала в бороду ему горячим ртом, смеясь, что-то шепча.

— Пусти, стерва! — рванулся старик и вплотную ощутил тугой живот снохи.

Она, прижавшись к нему, упала на спину, повалила его на себя.

— Чорт! Сдурела!.. Мать твою!.. Пусти!

— Не хочешь? — задыхаясь, спросила Дарья и, разжав руки, толкнула свекра в грудь. — Не хочешь?.. Аль, может, не могёшь? Так ты меня не суди!.. Так-то!

Вскочив на ноги, она торопливо оправила юбку, обмела со спины мякинные остья и в упор выкрикнула ошалевшему Пантелею Прокофьевичу:

— Ты за што меня надысь побил? Што ж, аль я старуха? Ты-то молодой не таковский был? Мужа — ево вон год нету!.. А мне, што ж, с кобелем, што ли? Шиш тебе, хромой! Вот на, выкуси!

Дарья сделала непристойное движение и, играя бровями, пошла к дверям. У дверей она еще раз внимательно оглядела себя, стряхнула с кофты и платка пыль, сказала, не глядя на свекра:

— Мне без этова нельзя... Мне казак нужен, а не хочешь — я найду себе, а ты помалкивай!

Она виляющей быстрой походкой дошла до гуменных ворот, скрылась, не оглянувшись, а Пантелей Прокофьевич всё стоял у рыжего бока веялки, жевал бороду и недоуменно и виновато оглядывал мякинник и концы своих латанных чириков. «Неужели на ее стороне правда? Может, мне надо бы было с нею грех принять?» — оглушенный происшедшим, растерянно думал он в этот миг.

VI

В ноябре в обним жали морозы. Ранний перепадал снежок. На колене против верхнего конца хутора Татарского стал Дон. По хрупкому сизому льду перебирались редкие пешеходы на ту сторону, а ниже одни лишь окраинцы подернулись пузырчатым голым ледком, на середине бугрилось стремя, смыкались и трясли седыми вихрами зеленые валы. На яме, против Черного яра, в дремах, на одиннадцатисаженной глубине давно уже стали на зимовку сомы, в головах у них — одетые слизью сазаны, одна бель моталась по Дону, да на перемыках шарахала сула, гоняя за калинкой. На хрящу легла стерлядь. Ждали рыбаки морозов поядреней, покрепче, — чтобы по первому льду пошарить цапками, полапать красную рыбу.

В ноябре получили Мелеховы письмо от Григория. Писал из Кувински, из Румынии, о том, что ранен был в первом же бою, пуля раздробила ему кость левой руки, поэтому отправляют его на излечение в свой округ, в станицу Каменскую. Следом за письмом проведала мелеховский курень другая беда: года полтора назад подошла Пантелею Прокофьевичу нужда в деньгах, взял у Мохова Сергея Платоновича сто рублей серебром под залродажное письмо. Летом в этом году вызвали

старика в магазин, и Атепин-Цаца, ущемив нос в золотое пенсне, глядя поверх него на мелеховскую бороду, заявил:

— Цто же ты, Пантелей Прокофиц, будешь платить или как?

Оглядел Пантелей Прокофьевич пустующие полки и глянцевитый от старости прилавок, помялся.

— Погоди, Вихтор Костентиныч, обернусь трошки, — заплачу.

На том кончился разговор. Обернуться старику не пришлось, — урожай не указал, а из тулевой скотины нечего было продавать. И вот тебе, как снег на темя — приехал судебный пристав, прислал за неплательщиком и в два оборота:

— Вынь да положь сто целковых.

На вз'езжей, в комнате пристава, на столе длинная бумага, на ней читай — не перечь:

«ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ

По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 1916 года, октября 27 дня, я, Донецкаго округа Мировой Судья 7 участка, слушалъ гражданское дѣло по иску мѣщанина Сергѣя Мохова съ урядника Пантелеймона Мелехова 100 руб. по запродажному письму и, руководствуясь ст. ст. 81, 105, 129, 133, 145 Уст. Гр. Суд. заочно

опредѣлил:

Взыскать с отвѣтчика, урядника Пантелеймона Прокофьева Мелехова, въ пользу истца, мѣщанина Сергѣя Платоновича Мохова, сто рублей по запродажному письму от 2 Іюня 1915 года, а также три рубля судебныхъ и за веденіе дѣла издержекъ. Рѣшеніе неокончательное; объявить какъ заочное.

Решеніе это, на основаніи 3 пунк. 156 ст. Устава Граждан. Судопр. подлежитъ немедленному исполненію, какъ вошедшее въ законную силу. Донецк. Окр. Мировой Судья 7 участка, по Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, приказалъ: всѣмъ мѣстамъ и лицамъ, до коихъ сіе можетъ относиться, исполнить въ точности настоящее решеніе, а властямъ мѣстнымъ, полицейскимъ и военнымъ, оказывать исполняющему рѣшеніе Приставу надлежащее по закону содѣйствіе безъ малѣйшаго отлагательства».

Пантелей Прокофьевич, выслушав пристава, попросил разрешения сходить домой, пообещав сегодня же внести деньги. Со вз'езжей он прямо направился к свату Коршунову. На площади повстречался с безруким Алешкой Шамилем.

— Хромаешь, Прокофич? — приветствовал его Шамиль.

— Помаленечку.

— Далеко ли бог несет?

— К свату. Дельце есть.

— О! А у них, брат, радость. Не слыхал? Сынок Мирона Григорича с фронта пришел. Митька ихний пришел, гутарют.

— В самом деле?

— Слыхал такую брехню, — мигая щекой и глазом, доставая кисет и подходя к Пантелею Прокофьевичу, говорил Шамиль. — Давай закурим, дядя! Бумажка моя, табачок твой.

Закуривая, Пантелей Прокофьевич колебался — итти, или нет; в конце концов решил пойти и, попрощавшись с безруким, похромал дальше.

— Митька-то тоже с крестом! Норовит твоих сынов догнать. У нас теперя по хутору кавалеров этих — как воробьев в хворосте! — горланил вслед ему Шамиль.

Пантелей Прокофьевич, не спеша, вышел в конец хутора, поглядывая на окна коршуновского куреня, подошел к калитке. Встретил его сам сват. Веснушчатое лицо его словно вымыла радость, казался он и чище и не таким уж конопатым.

— Прослыхал про нашу радость? — ручкаясь со сватом, спрашивал Мирон Григорьевич.

— Дорогой от Алешки Шамиля узнал. Я к тебе, сваток, по другому делу...

— Погоди, какие дела! Пойдем в куреня — служивова встренешь. Мы, признаться, на радостях трошки подпили... У моей бабы блюлась бутылка царской про свят случай.

— Ты мне не рассказывай, — шевеля ноздрями горбатого носа, улыбался Пантелей Прокофьевич: — я ишо издаля почуял!

Мирон Григорьевич распахнул дверь, пропуская свата вперед. Тот шагнул через порог и сразу уперся взглядом в Митьку, сидевшего за столом в переднем углу.

— Вот он наш служивый! — плача, воскликнул дед Гришака и припал к плечу вставшего Митьки.

— Ну, с прибытьём, казачок!

Пантелей Прокофьевич, подержав длинную ладонь Митьки, отступил шаг назад, дивясь и оглядывая его.

— Што смотрите, сват? — улыбаясь, хриповато пробасил Митька.

— Гляжу — и диву даюсь: провожали вас на службу с Гришкой, — ребятами были, а теперь ишь... казак, прямо хучь в Атаманский!

Лукинична, заплаканными глазами глядя на Митьку, наливала в рюмку водку и, не видя, лила через край.

— Ты, короста! Такую добро через льешь! — прикрикнул на нее Мирон Григорьевич.

— С радостью вас, а тебя, Митрий Мироныч, с счастливым прибытием!

Пантелей Прокофьевич поворочал по сторонам синеватыми белками и, не дыша, дрожа ресницами, выцедил пузатую рюмку. Медленно вытирая ладонью губы и усы, он стрельнул глазами на дно рюмки, запрокинув голову, стряхнул в раззявленный чернозубый рот сиротинку-каплю и только тогда перевел дух, закусывая огурцом, блаженно и долго щурился. Сваха поднесла ему вторую, и старик как-то сразу смешно опьянел. Митька следил за ним улыбаясь. Кошачьи зрачки его его суживались в зеленые, как осокой прорезанные щелки, то ширились, темнели. Изменился он за эти годы неузнаваемо. Почти ничего не оставалось в этом здоровенном черноусом казачине от того тонкого стройного Митьки, которого три года назад провожали на службу. Он значительно вырос, раздался в плечах, ссутулился и пополнел, весил, наверное, никак не меньше пяти пудов, огрубев лицом и голосом, выглядел старше своих лет. Одни глаза были те же — волнующие и беспокойные; в них-то и тонула мать, смеясь и плача, изредка трогая морщеной, блеклой ладонью прямые коротко остриженные волосы сына и белый его узкий лоб.

— Кавалером пришел? — льяно улыбаясь, спрашивал Пантелей Прокофьевич.

— Кто теперь из казаков крестов не имеет? — нахмурился Митька. — Крючкову вон три креста навесили за то, што при штабе огинается.

— Он, сваточек, гордый у нас, — спешил дед Гришака. — Он, поганец, весь в меня, в деда. Он не могет спину гнуть.

— Кресты кубыть не за это им вешают, — насупился-было Пантелей Прокофьевич, но Мирон Григорьевич увлек его в горницу, усаживая на сундук, спросил:

— Наталья с внуками как? Живы-здоровы? Ну, слава богу! Ты, сват, никак сказал, што по делу зашел? Какое у тебя завелось дело? Говори, а то ишо выпьем — и захмелеешь.

— Денег дай. Дай ради бога! Выручи, а то бедствую с этими... с деньгами.

Пантелей Прокофьевич просил с размашистой пьяной униженностью. Сват перебил его:

— Сколько?

— Сто бумажек.

— Каких? Бумажки-то—они разные бывают.

— Сто целковых.

— Так и говори.

Мирон Григорьевич, порывшись в сундуке, достал засаленный платок, развязал его, шелестя хрушкой бумагой, отсчитал десять «красненьких».

— Спасибо, сватюк... отвел от беды!

— Ну, об чем гутарить. Свои люди — сочтемся!

Митька пробыл дома пять дней; ночи проводил у аникушкиной жены, сжалившись над горькой бабьей нуждой и над самой над ней, безотказной и простенькой бабенкой. Днями бродил по родне, по гостям. Высокий, одетый в одну легонькую защитную тужурку, попирал раскачкой хуторские улицы, сдвинув фуражку набекрень, хвастая крепостью своей на холод. Как-то перед вечером заглянул и к Мелеховым. Принес с собой в жарко-натопленную кухню запах мороза и незабываемый едкий дух солдатчины. Посидел, поговорил о войне, о хуторских новостях, пощурил на Дарью зеленые, камышевые глаза и собрался уходить. Дарья, глаз не сводившая со служивого, качнулась, как пламя свечки, когда Митька, уходя, хлопнул дверью, туго поджимая губы, накинула-было платок, но Ильинична спросила:

— Ты куда, Дашка?

— К ветру... по нужде.

— Пойдем вместе.

Пантелей Прокофьевич сидел, не поднимая опущенной головы, будто и не слышал разговора. Мимо него прошла к дверям Дарья, тая под опущенными веками лисий блеск, за ней, кряхтя, увалисто катилась свекровь. Митька, покашливая, скрипел сапогами у калитки, курил в горсть. На звяк щеколды он шагнул-было к крыльцу.

— Это ты, Митрий? Либо заблудился на чужом базу? — ехидно окликнула его Ильинична. — Ты уж калитку-то за собой засовом запри, а то ветер, хлопать будет ночью... Ветер-то, ишь, какой...

— Ничево, не заблудился... Запру... — помолчав досадливо сказал Митька, и, кашлянув, прямо через улицу потянул к аникушкиному базу.

Жил Митька птичьей, бездумной жизнью: жив нынче — хорошо, а назавтра — само дело укажет. Служил он с прохладцей и, несмотря на то, что бесстрашное сердце гоняло его кровь, не особенно искал возможности выслужиться,— за то послужной список Митьки являл некоторое неблагополучие: был хозяин его два раза судим по обвинению в изнасиловании русско-подданной полъки и в грабеже, за три года войны подвергался бесчисленным наказаниям и взыскам; однажды даже военно-полевой суд чуть не прилепил ему расстрел, но как-то умел Митька выкручиваться из бед, и, хотя и был в полку на последнем счету, — любили его казаки за веселый, улыбчивый нрав, за похабные песни (на них был Митька мастер не из последних), за товарищество

и простоту, а офицеры — за разбойную лихость. Улыбаясь, топтал Митька землю легкими волчьими ногами, было много в нем от звериной этой породы: в походке увалистой — шаг в шаг, в манере глядеть исподлобья зелеными зрачкастыми глазами; даже в повороте головы,— никогда не вертел Митька контуженной шеей: поворачивался всем корпусом, коли надо было оглянуться. Весь скрученный из тугих мускулов на широком костяке, был он легок и скуп в движениях, терпким запахом здоровья и силы веяло от него,— так пахнет поднятый лемехами чернозем в логу. Была для Митьки несложна и пряма жизнь, тянулась она пахотной бороздой, и он шел по ней полноправным хозяином. Также примитивно просты и несложны были его мысли: голоден,— можно и должно украсть, хотя бы и у товарища, и крал, когда был голоден; износились сапоги,— проще простого разуть пленного немца; пробштрафился,— надо искупить вину, и Митька искупал: ходил в разведку, приносил снятых им полузадушенных немецких часовых, охотником шел на рискованнейшие предприятия. В 1915 году попался в плен, был избит и изранен тесаками, а ночью, изломав до корней ногти на пальцах, продрал крышу сарая и бежал, захватив на память обозную упряжь. Поэтому-то многое и сходило Митьке.

На шестые сутки отвез Мирон Григорьевич сына на Миллерово, проводил его до вагона, поглядел, как, удаляясь, тарахтят звенья зеленых коробок, и долго ковырял кнутовищем насыпанный у платформы шлак, не поднимал опущенных посоловевших глаз. Плакала по сыну Лукинична, кряхтел дед Гришака, трубил в горнице, сморкаясь в ладонь, вытирая ее о замасленную полу чекменька. Плакала и аникушкина жалмерка, вспоминая большое, горячее на ласки тело Митьки и, мучаясь от триппера, которым наделил ее служивый.

Время заплетало дни, как ветер конскую гриву. Перед Рождеством внезапно наступила оттепель; сутки шел дождь, с обдонской горы по ерикам шалая неслась вода; на обнажившихся от снега мысах зазеленела прошлогодняя травка и мшистые плитняки мела; на Дону заедями пенились окраинцы, лед, трупно синея, вздувался. Невыразимо сладкий запах излучал оголённый чернозем. По Гетманскому шляху, по прошлогодним колесникам, пузырилась вода. Свежими обвалами, рудыми ранами, зияли глинистые за хутором яры. Южный ветер нес с Чира томленые запахи травного тлена, и в полдни на горизонте уже маячили, как весной, голубые, нежнейшие тени. По хутору над буграми высыпанной у плетней золы стояли рябые лужины. На гумнах оттаивала у скирдов земля, колола в нос прохожего пригорная сладость подопревшей соломы. Днями по карнизам куреней с соломенных сосульчатых крыш стекала дегтярная вода, надрывно чекакали на плетнях сороки, и, обу-

реваемый преждевременным томлением весны, ревел зимовавший на базу у Мирона Григорьевича общественный бугай. Он раскидывал рогами плетни, терся о дубовую из'еденную червоточиной соху, мотал шелковистым подгрудком и копытил на базу рыхлый, напитанный талой водой снег.

На второй день Рождества взломало Дон. С мощным хрустом и скрежетом шел по средине стор. На берег, как сонные чудовищные рыбы, вылезали крыги. За Доном, понукаемые южным волнующим ветром, стремились в недвижном зыбком беге тополя.

«Шшшшшуууууууууу...»,— плыл оттуда сиповатый, приглушенный гул.

Но к ночи загудела гора, всполчились на площади вороны, мимо мелеховского куреня прокатила христонина свинья с клочком сена в пасти, и Пантелей Прокофьевич решил: «прищемило весну, завтра саданет мороз». Ночью ветер повернул с востока, легонький морозец кристальным ледком латал изорванные оттепелью лужины. К утру дул уже московский ветер, тяжко давил мороз. Вновь водворилась зима. Лишь по средине Дона, напоминая об оттепели, большими белыми листьями плыли шмоточки крыг, да на бугре морозно дымилась растелешенная земля.

Вскоре после Рождества Пантелею Прокофьевичу на станичном сходе сообщил писарь о том, что видел в Каменской Григория, и, что тот просил уведомить родных о скором своем приезде.

VII

Маленькими смуглыми руками, с тыла покрытыми редким глянцем волоса, щупал Сергей Платонович Мохов жизнь со всех сторон. Иногда и она с ним заигрывала, иногда висела, как камень на шее утопленника. Многое перевидал Сергей Платонович на своем веку, в разных бывал передрягах. Давненько, когда работал еще ссыпкой, пришлось ему за гроши скупить у казаков хлеб, а потом вывезти за хутор и ссыпать в Дурной яр четыре тысячи пудов сгоревшейся пшеницы. Помнил и 1905 год,— и в него осенней ночухой разрядил кто-то из хуторских дробовик. Ботател Мохов и проживался, под конец сколотил шестьдесят тысяч, положил их в Волго-Камский банк, но дальним нюхом чуял, что неотвратно подходит время великого потрясения. Ждал Сергей Платонович черных дней, и не ошибся: в январе семнадцатого года учитель Баланда, исподволь умиравший от туберкулеза, жалился ему:

— Революция на носу, а тут изволь издыхать от глупейшей и сентиментальнейшей болезни. Обидно, Сергей Платонович!.. Обидно, что не придется поглядеть, как распотрошат ваши капиталы и вас вспугнут из теплого гнездышка.

— Что же тут обидного?

— А как же? Все же, знаете, приятно будет видеть, как все пойдет прахом.

— Нет уж, милый, мой! Умри ты нынче,— я завтра! — тайно злобясь, говорил Сергей Платонович.

В январе еще блуждали по хуторам и станицам отголоски столичных разговоров о Распутине и царской фамилии, а в феврале, как стрепета сетью, накрыла Сергея Платоновича весть о низвержении самодержавия. Казаки отнеслись к известию о перевороте со сдержанной тревогой и выжиданием. В этот день у закрытой моховской лавки толпились до вечера старики и казаки помоложе. Хуторской атаман Кирюшка Солдатов (преемник убитого Маныцкова), большой рыжеусый и чуть раскосый казак, был подавлен, в разговоре, оживленно закипевшим у лавки, участия почти не принимал, ползал косыми глазами по казакам, изредка вставляя растерянное восклицание:

— Наворошили делов!.. Ну и ну!.. Как теперича жить?..

Сергей Платонович, увидев из окна толпу у лавки, решил пойти потолковать со стариками. Надел енотку, и, опираясь на коричневую трость, со скромными серебряными инициалами, вышел на парадное крыльцо. От лавки сочился гомон.

— Ну, Платоныч, ты человек грамотный, расскажи нам, темным, што теперь и как будет? — спросил Матвей Кашулин, напуганно улыбаясь, собирая сбочь зябкого носа косые складки.

На поклон Сергея Платоновича старики почтительно снимали шапки, расступались, давая место в круге.

— Без царя будем жить...— помялся Сергей Платонович.

Старики заговорили все сразу:

— Как же без царя-то?

— Отцы наши и деды при царях жили, а теперя не нужен царь?

— Голову сними, — небось, ноги без нее жить не будут.

— Какая же власть заступить?

— Да ты не мнись, Платоныч! Гутарь с нами по чистой — чево ты опасаешься?

— Он, может, и сам не знает,— улыбнулся Авдеич-Брех, и от улыбки ямки на розовых щеках его стали глубже.

Сергей Платонович тупо оглядел свои не-новые резиновые боты, сказал, с болью выплевывая слова:

— Государственная дума будет править Рес-пуб-лика будет у нас.

— Достукались, мать те чорт!

— Мы как служили при покойничке Александре втором...— начал было Авдеич, но суровый старик Богатырев строго перебил его:

— Слыхали! Не об этом тут речь.

— Казакам, значит, концы приходют?

— Да то ништо!

— Мы тут забастовки работаем, а немец тем часом и до Санкт-Петербурга доберется.

— Раз равенство — значит, с мужиками нас поровнять хочут...

— Гляди, небось, и до земельки доберутся?..

Сергей Платонович, насильно улыбаясь, оглядел расстроенные лица стариков, на душе у него стало сумеречно и гадко. Он привычным жестом раздвоил гнедоватую бороду, заговорил, злобясь неизвестно на кого:

— Вот, старики, до чего довели Россию. Сравняют вас с мужиками, лишат вас привилегий, да еще и старые обиды припомнят. Тяжелые наступают времена... В зависимости от того, в какие руки попадет власть, а то и до окончательной гибели доведут.

— Живы будем — посмотрим! — покачал головою Богатырев, и из-под клочкастых хлопьев бровей глянул на Сергея Платоновича недоверчиво.— Ты, Платоныч, свою линию гнешь, а нам, могет быть, што и полегчает от этова?..

— Чем же это вам полегчает? — язвительно спросил Сергей Платонович.

— Войну новая власть, может, кончит... Могет ить быть такое? Ась?

Сергей Платонович махнул рукой и постаревшей походкой поковылял к своему голубому нарядному крыльцу. Он шел разбросанно, думая о деньгах, о мельнице и ухудшающейся торговле, вспомнил, что Елизавета теперь в Москве, а Владимир должен вскоре приехать из Новочеркасска. Тупой укол тревоги за детей не нарушил мятущейся бессвязицы мыслей. Так дошел он до крыльца, чувствуя, как за этот день сразу потускнела жизнь и даже сам он словно внутренне вылинял от ноющих мыслей. Кислый вкус ржавчины во рту вызвал приток слюны. Оглянувшись на стариков у лавки, он плюнул через резные перила крыльца, пошаркал по террасе в комнаты. Анна Ивановна встретила мужа в столовой, скользнула по лицу его привычно-равнодушным взглядом пустоцветных глаз, спросила:

— Перед чаем закусишь?

— Да нет же! Какая там закуска?! — брезгливо отмахнулся Сергей Платонович.

Раздеваясь, он все чувствовал вкус ржавчины во рту и безрадостную глухую пустоту в голове.

— От Лизы письмо.

Анна Ивановна, тучная и сыроватая, прошла в спальню снующей иноходью (так всегда ходила она, с первого дня замужества, придавленная большим хозяйством), вынесла надорванный конверт.

«Пустая и, кажется, недалекая девка»,— в первый раз подумал так о дочери Сергей Платонович, морща нос от запаха духов, исходившего от плотного конверта. Он невнимательно прочел письмо, почему-то остановился на слове «настроение», и долго думал, доискиваясь в нем самому ему непонятного смысла. В конце письма Елизавета просила выслать денег. Сергей Платонович, все еще ощущая ноющую пустоту в голове, прочел последние строки. Ему неожиданно захотелось тихо заплакать. Дыбом вставшая жизнь являла в этот миг ему порожнее свое нутро.

«Чужая она мне,— думал он про дочь.— И я ей чужой. Родственные чувства испытывает — поскольку нужны деньги... Грязная девка, имеет любовников... а маленькая была белокурой и родной... Боже мой! Как меняется все!.. До старости остался дураком, верил в какую-то хорошую в будущем жизнь, а на самом деле одинок, как часовня... Нечисто наживал, — да чисто и не наживешь! — жулил, жался, а теперь вот революция, и завтра мои холуи могут вытряхнуть меня из дома... Все под такую мать!.. А дети? Владимир глуп... Да и что толку? Все равно, пожалуй...»

По какой-то нелепой связи вспомнился давнишний случай на мельнице: завозчик-казак заскандалил по поводу большого отмола и отказался платить; он, Сергей Платонович, в это время был в машинном отделении, вышел на шум, и, узнав в чем дело, приказал весовщику и мирошникам не отдавать сработанную муку. Маленький, невзрачный казачишка тянул мешок за гузырь к себе, мирошник, плотный, грудастый Завар,— к себе. Так случилось, что казачишка толкнул мирошника, тот, развернувшись, ударил его в висок большим косо сжатым кулаком. Казачишка упал, потом вскочил на ноги, покачиваясь; на левом виске его мокро кровянилась ссадина. Он вдруг шагнул к Сергею Платоновичу, выдохнул стенящим шопотом:

— Возьми муку! Жри! — и вышел, дрожа плечами, стягивая в щепоть разбитый висок.

Безо всякой видимой связи вспомнился Сергею Платоновичу этот случай и последствия его: жена казачишки приходила с просьбой воз-

вратить муку, насильно выдавливая слезы, ища сочувствия у завозчиков, голосила:

— Што ж это такое, люди добрые? Какие это права? Отдай муку!

— Иди, тётка, иди по-добру, а то волосья выщипаю!— посмеивался Завар.

Было неприятно и досадно смотреть, как весовщик Валет, такой же слабосильный и мелкорослый, как и тот казачишка, полез на Завара в драку, и после, жестоко избитый им, приходил просить расчет. Все это быстролетно мелькнуло в уме Сергея Платоновича, пока он слаживал прочитанное письмо, глядя перед собой невидящими глазами.

День этот оставил под исход садную дурную боль. Сергей Платонович спал ночью плохо, ворочался, одолеваемый бестолковыми мыслями и неосознанными желаниями, уснул за полночь, а утром, прослыхав, что к отцу, в Ягодное, приехал с фронта Евгений Листницкий, решил с'ездить туда, чтобы поговорить, выяснить подлинное положение и снять с души горькую накипь тревожных предчувствий. Емельян, посасывая трубку, запряг в городские санки маштака, повез хозяина в Ягодное.

Над хутором оранжевым жердёлом вызревало солнце, под ним и выше тлели дымясь облака. Резкий морозный воздух был насыщен сочным плодовым запахом. Под копытами маштака хрустел подорожный ледок, пар сносился ветром от конских ноздрей назад, инеем оседал на гриве. Сергей Платонович, умиротворенный быстрой ездой и холодом, подрёмывал, качался, терся спиной о коверчатый задок саней. А в хуторе на площади чернела тулупами толпа казаков, овечьим порядком кучились бабы, запахнув донские шубы, опушенные бурым поречьем.

В средине толпы учитель Баланда, с платком у позеленевшего рта и с красной лентой в петличке полушубка, горячечно блестя глазами, говорил:

— ...Видите, наступил конец проклятому самодержавию! Теперь ваших сынов не пошлют усмирять плетями рабочих, кончилась ваша позорная служба царю-кровососу. Учредительное собрание будет хозяином новой, свободной России. Оно сумеет построить иную, так сказать, светлую жизнь!

Сзади, за сборки полушубка, дергала его сожительница, шептала умоляюще:

— Митя, оставь! Пойми, что вредно тебе,, нельзя! Кровь ведь опять будет итти... Митя!

Казаки слушали Баланду, смущенно потупясь, покряхтывая, тая улыбки. Речь ему так и не дали докончить. Сочувственный голос из передних рядов произнес басовито:

— Жизня-то, как видать, светлая будет, да вот ты, сердяга, не дотянешь. Шел бы себе домой, а то на базу-то свежо...

Баланда скомкал недоговоренную фразу, и, завявший, вышел из толпы.

В Ягодное приехал Сергей Платонович в полдень. Емельян за уздцы подвел маштака к плетеным яслям возле конюшни, и, пока хозяин вылезал из саней и, откинув полу тулупа, доставал носовой платок, успел разнуздать лошадь, накинуть попоной. У крыльца Сергея Платоновича встретил высокий, седоватый, в рыжих подпалинах борзой кобель. Он встал навстречу чужому, потягиваясь на длинных жилистых ногах, зевая, за ним с такой же ленцой поднялись и остальные собаки, черными узлами лежавшие сбочь крыльца.

«Чорт, сколько их!..» — опасливо поглядывал Сергей Платонович, задом пятясь по порожкам крыльца.

В сухой, светлой, передней тяжко воняло псиной, уксусом. Над сундуком, на широком размете оленьих рог висели каракулевая офицерская папаха, башлык с серебряной кистью и бурка. Сергей Платонович глянул туда; на миг ему показалось, что кто-то мохнатый, черный стоит на сундуке, недоумевающе вздернув плечи. Из боковой комнаты вышла полная, черноглазая женщина. Она внимательно оглядела раздевавшегося Сергея Платоновича, спросила, не меняя серьезного выражения на смугловато-красивом лице:

— Вы к Николаю Алексеевичу? Я сейчас доложу.

Она вошла в зал не постучавшись, плотно прикрыв за собою дверь. В этой располневшей черноглазой красавице-бабе Сергей Платонович с трудом признал Астахову Аксинью. Она сразу угадала его, плотнее сжала вишневые губы, пошла, держась неестественно прямо, чуть шевеля матовыми оголенными локтями. Через минуту следом за ней вышел сам старый Листницкий. Он, в меру приветливо улыбаясь, снисходительно пробасил:

— А! Степенство! Какими судьбами? Прошу... — посторонился, движением руки приглашая гостя в зал.

Сергей Платонович раскланялся с давно усвоенной им в отношении больших людей почтительностью, шагнул в зал. Навстречу ему, щурясь из-под пенсне, шел Евгений Листницкий.

— Это превосходно, милейший Сергей Платонович! Здравствуйте. Что ж это, как будто бы стареете? А?

— Ну, полно, Евгений Николаевич! Я еще думаю вас пережить. Как вы-то? В целости и сохранности?

Евгений, улыбаясь, поблескивая золотыми коронками зубов, под руку увлекал гостя к креслу. Они сели за небольшим столиком, пере-

брасываясь незначительными фразами, разыскивая в лицах друг друга те изменения, которые произошли со времени последней встречи. Распорядившись о чае, вошел пан. Большая гнутая трубка в зубах его дымилась. Он остановился у кресла Сергея Платоновича, спросил, положив на стол старчески костлявую, длинную ладонь:

— Как у вас на хуторе? Слышали... хорошие вести-то?

Сергей Платонович снизу вверх глянул на выбритые висячие складки на подбородке и шее генерала, вздохнул.

— Как не слышать!..

— С какой роковой предопределенностью шлю к этому... — генерал, дрогнув кадыком, глотнул дым. — Я предвидел это еще в начале войны. Что же... династия была обречена. Мне сейчас вспомнился Мережковский... помнишь, Евгений? — «Петр и Алексей». Там после пытки царевич Алексей говорит отцу: «Кровь моя падет на потомков твоих...»

— Ведь у нас ничего толкового нет, — волнуясь, заговорил Сергей Платонович; поерзав в кресле, он закурил, продолжал: — Газет не получаем уже неделю... Слухи самые невероятные, растерянность. Беда, ей-богу! Я, услыша, что Евгений Николаевич приехал в отпуск, решил с'ездить сюда к вам, расспросить, что там творится, чего нужно ожидать.

Евгений, уже без улыбки на опрятно выбритом белесом лице, рассказывал:

— Грозные события... Солдаты буквально все разложены, воевать не желают — устали. Собственно, в этом году уже не стало солдат в общепринятом смысле этого слова. Солдаты превратились в банды преступников, разнузданных и диких. Вот папа, например... он не может себе этого представить. Он не может представить, до какой степени разложения дошла наша армия... Самовольно уходят с позиций, грабят и убивают жителей, убивают офицеров, мародерствуют... Невыполнение боевого приказа — теперь обычная вещь.

— Рыба с головы гниет, — вместе с дымом вытолкнул старый Листницкий фразу.

— Я бы не сказал этого, — Евгений поморщился, жиловатое веко у него подергал нервчик: — Я бы не сказал... Снизу гниет армия, разлагаемая большевиками. Даже казачьи части, особенно те, которые близко соприкасались с пехотой, неустойчивы морально. Сильнейшая усталость и тяга к родным куреням... А тут большевики...

— Чего же они хотят? — не вытерпел Сергей Платонович.

— О... — Листницкий усмехнулся, — они хотят... это хуже холерных бацилл! Хуже в том отношении, что легче прилипает к человеку и внедряется в самые толщи солдатских масс... Я говорю про идею.

Тут уже никакими карантинами не спасешься. Среди большевиков есть, несомненно, талантливые люди, с некоторыми мне приходилось общаться, есть просто фанатики, но преобладающее большинство — разнузданные, бесправные суб'екты. Тех не интересует сущность большевистского учения, а лишь возможность пограбить, уйти с фронта. Они хотят прежде всего захватить власть в свои руки, на любых условиях кончить, как они выражаются, «империалистическую» войну, хотя бы даже путем сепаратного мира, земли передать крестьянам, фабрики — рабочим. Разумеется, это столь же утопично, сколь и глупо, но подобным примитивом достигается расположение солдат.

Листницкий говорил, сдерживая глухую злобу. В пальцах его ходил слоновой кости мундштук. Сергей Платонович слушал, наклонившись вперед, словно собираясь вскочить на ноги. Старый Листницкий ходил по залу, чмыкая черными мохнатыми бурками, покусывая зеленосединный ус.

Евгений рассказал о том, как еще до переворота он вынужден был бежать из полка, опасаясь мести казаков, передал о происходивших в Петрограде событиях, свидетелем которых он был.

Разговор на минуту заглох. Старый Листницкий, глядя в переносицу Сергея Платоновича, спросил:

— Что же, купишь серого, того, которого смотрел осенью — сынка «Боярыни»?

— До этого ли теперь, Николай Алексеевич? — жалко сморщился Мохов и махнул безнадежно рукой.

В людской в это время Емельян, отогревшись, пил чай, красным платком вытирал пот с буряковых щек, рассказывал о хуторе и новостях. Аксинья стояла у кровати, грудью навалясь на резную спинку, кутаясь в пуховый платок.

— Небось, наш курень уж развалился?— спрашивала она.

— Нет, зачем же развалился — стоит! Чево ему сделается? — мучительно растягивая слова, отвечал Емельян.

— Соседи-то наши, Мелеховы, как живут?

— Живут помаленечку.

— Петро не приходил в отпуск?

— Вроде не приходил.

— А Григорий?.. Гришка ихний?

— Гришка приходил после Рождества. Баба ево двойню энтот год родила... А Григорий... как же — приходил по ранению.

— Раненый был?

— А то как же? Ранили в руку. Ево всево испятнили, как кобеля в драке: то ли крестов на нем больше, то ли рубцов.

— Какой же он, Гришка? — давясь сухой спазмой, спрашивала Аксинья и покашливала, выправляя секущийся голос.

— Такой же... горбоносый да черный. Турка туркой, как и полагается.

— Я не про то... Постарел аль нет?

— А чума ево знает: может, и постарел трошки. Жена двойню родила,— значит не дюже постарел.

— Холодно здесь...— подрожав плечами, сказала Аксинья и вышла.

Наливая восьмую чашку, Емельян проводил ее глазами, медленно, как слепой ноги, переставляя слова, сказал:

— Гнида гадкая, вонючая, какая ни на есть хуже! Давно ли в чириках по хутору бегала, а теперя уж не скажет «тут», а «здеся»... Ишь, ты, барыня с нижнева конца, мать твою кобель лизал! Вредные мне такие бабы. Я бы их, стерьвов... Выползень змеиный! Туда же... «холодно здеся»... Возгря кобылья! Пра!..

Обиженный, он не допил восьмую чашку, вылез, перекрестился, ушел, независимо поглядывая вокруг и сознательно грязня сапогами притертый пол.

Всю обратную дорогу он был утрюм, как и хозяин. Злобу, вызванную Аксиньей, вымещал на маштаке, нахлестывая кончиком кнута по местам маштаковой стыдливости и язвительно величая его «хлынцем» и «чикиляем». До самого хутора Емельян, против обыкновения, не перекинулся с хозяином ни одним словом. Напуганную тишину хранил и Сергей Платонович.

VIII

Первую бригаду одной из пехотных дивизий, находившуюся в резерве Юго-Западного фронта, с приданным к ней 27-м донским казачьим полком, перед февральским переворотом сняли с фронта с целью переброски в окрестности столицы на подавление начавшихся беспорядков. Бригаду отвели в тыл, снабдили новым зимним обмундированием, сутки превосходно кормили, на другой день, погрузив в вагоны, отправили, но события опередили двигавшиеся к Минску полки: в день отправки уже передавались настойчивые слухи, что император в ставке главнокомандующего подписал акт об отречении от престола.

Бригаду с полпути вернули обратно. На станции Разгон 27-й полк получил приказ выгрузиться из вагонов. Пути были забиты составами. На платформе сновали солдаты с красными бантами на шинелях, с добротно сделанными новыми винтовками русского образца, но английского происхождения. Многие из солдат были возбуждены, опасливо поглядывали на строившихся посотенно казаков.

Пасмурный иссякал день. С крыш станционных построек журчилась вода, лужи на путях, покрытые нефтяными блестками, отражали серую мякотную овчину неба. Рев маневрировавших паровозов звучал приглушенно, рыхло. За пакгаузом полк в конном строю встречал командира бригады. Мокрые по щетки ноги лошадей дымились паром. Вороны безбоязненно садились сзади строя, гребли и клевали оранжевые яблоки конского помета.

Командир бригады на вороном трехвершковом коне, в сопровождении командира полка, под'ехал к казакам. Натянув поводья, он оглядел сотни. Заговорил, словно отталкивая обнаженной рукой свои неуверенные, глухие слова.

— Станичники! Волею народа, царствовавший доныне император Николай второй... э-э-э... низложен. Власть перешла к Временному комитету Государственной думы. Армия, и вы в том числе, должны спокойно перенести это... э-э-э... известие... Дело казаков защищать свою родину от посягательств внешних и... э-э-э... так сказать, внешних врагов. Мы будем в стороне от начавшейся смуты, предоставим гражданскому населению избирать пути к организации нового правительства. Мы должны быть в стороне! Война и политика для армии несовместимы... В дни таких вот потрясений... э-э-э... всех основ мы должны быть тверды... — бригадный, старый и бездарный служака-генерал, не привыкший держать речи, замялся, копаясь в сравнениях; на маслянистом лице его в мучительной немоте двигались брови; сотни терпеливо ждали: — э-э-э... как сталь. Ваш казачий воинский долг призывает вас подчиняться своим начальникам. Мы будем биться с врагом так же доблестно, как и раньше, а там... — косой плывущий жест назад: — пусть Государственная дума решает судьбу страны. Кончим войну, тогда и мы примем участие во внутренней жизни, а пока нам... э-э-э... нельзя. Армию мы не можем отдать... В армии не должно быть политики!

Здесь же на станции спустя несколько дней присягали Временному правительству, ходили на митинги, собираясь большими земляческими группами, держась обособленно от солдат, наводнявших станцию. После подолгу обсуждали слышанные речи, вспоминая, прощупывали недоверчиво каждое сомнительное слово. У всех почему-то сложилось убеждение: если свобода — значит конец войне, и с этим прочно укоренившимся убеждением трудно стало бороться офицерам, утверждавшим, что воевать Россия обязана до конца.

Растерянность, охватившая после переворота верхушки армии, тягостно отражалась на низах; про существование застрявшей на полпути бригады штаб дивизии словно забыл. Бригада, выгрузившись, доедала выданное на восемь суток довольствие, солдаты толпами ухо-

дили в близлежащие деревушки; на базаре откуда-то появился в продаже спирт, и уже не в диковину было видеть в те дни пьяных нижних чинов и офицеров.

Вырванные переброской из обычного круга обязанностей, казаки томились в теплушках, ждали отправки на Дон (слух о том, что второочередников будут пускать по домам, держался весьма упорно), небрежно ухаживали за лошадьми, дни напролет толклись на базарной площади, торговали запасенными с позиций ходкими предметами продажи: немецкими одеялами, штыками-пилами, шинелями, кожаными ранцами, табаком...

Приказ о возвращении на фронт встречен был открытым ропотом. Вторая сотня отказалась было ехать, казаки не разрешили прицепить к составу паровоз, но командир полка пригрозил разоружением, и волнение пошло на убыль, улеглось. Эшелоны потянулись к фронту.

— Это што же, братушки? Свобода — свобода, а касаемо войны опять, значица, кровь проливать?

— Старый прижим зачинается!

— На кой же ляд царя-то уволили?

— Нам што при нем было хорошо, што и зараз подходяште...

— Шаровары — одни, только мотней назад.

— Во-во!

— Это до каких же пор будет, мать их?..

— Четвертый год с винтовки не слазишь! — шли в вагонах разговоры.

На какой-то узловой станции казаки, как сговорившись, высыпали из вагонов и, не глядя на увещания и угрозы командира полка, открыли митинг. Тщетно меж серого сплава казачьих шинелей метались комендант и престарелый начальник станции, упрашивая казаков разойтись по вагонам и освободить пути. Казаки с неослабным захватывающим вниманием слушали речь урядника третьей сотни. После него говорил небольшой статный казачок Манжулов. Из его побелевшего, злобно искривленного рта с трудом выметывались злые слова:

— Станичники! Нельзя тах-то! Нас опять же под конфуз подвели. Обман хочут исделать! Раз превзошла революция и всему народу дадена свобода — значица, должны войну прикончить, затем што народ и мы войну не хотим! Аккуратно я гутарю? По-правильному?

— Правильно!

— Под хвост кобыле!

— Осточертела всем!

— Шаровары вон на ж . . . не держутся... какая война?!

— Не жжжа-лла-ем!..

— По домам!

— Отчаливай паровоз! Федот, давай-ка!

— Станишники! Погодите! Станишники! Братцы!.. Черти, в рот вас, в печенку, в душу!.. Братцы! — надрывался Манжулов, стараясь перекричать тысячу глоток. — Погодите! Паровоз не волнуйте! Он нам без надобности, а только што обман... Пущай нам их высокоблагородие командир полка дукумент об'явит: на самом деле нас требуют на фронт, али это по ихней капрызности?..

Полк только после того погрузился в вагоны, когда взволнованный, не владеющий собой командир полка, дрожа губами, вслух прочитал полученную им из штадива телеграмму о вызове полка на фронт.

В одной теплушке ехали шесть человек татарцев — хуторян, служивших в 27-м полку: Петро Мелехов, родной дядя Мишки Кошевого Николай Кошевой, Аникушка, Федот Бодовсков, Меркулов—цыгановатый с черно-кудрявой бородой и с шалыми светло-коричневыми глазами, и Максимка Грязнов, сосед Коршуновых, беспутный и веселый казак, по всему станичному юрту стяжавший до войны черную славу бесстрашного конокрада. «Меркулову уж куда не подошло бы коней уводить — на цыгана похож и все такое... а вот не ворует. А ты, Максим, конский хвост уводишь — и то в жар тебя шибает!» — постоянно смеялись Грязнову казаки. Максимка краснел, жмурил голубой, как льняной цветок, глаз, пакостно отшучивался: «С меркуловой матерью цыган ночевал, а моя, небось, позавидовала, а то б рази я... да упаси и не приведи!..»

В теплушке ходил сквозной ветер; лошади стояли у наскоро сбитых кормушек под попонами; среди вагона на бугорке мерзлой земли чадили сырые дрова, едучий дым тянуло в дверную щель. Казаки сидели на седлах вокруг огня, сушили взвонявшиеся от пота и сырости портянки. Федот Бодовсков грел у огня босые гнутые ноги. На калмыцком, углоскулом лице его блудила довольная улыбка. Грязнов наскоро прихватывал дратвой отпоровшуюся подошву, продымленным осипшим голосом говорил, обращаясь неизвестно к кому:

— ...Маленьким был, зимой, бывалоча, заберусь на печку, а бабка моя (ей в те годы за сто перевалило!) ощупкой ищет у меня в голове вшу, тутарит: «Ягодка, мой Максимушка! В старину не так-то народ жил — крепко жил, по правилам, и никаких на нево не было напастей. А ты, чадунюшка, доживешь до такой поры-времени, што увидишь, как землю всею опутают проволокой, и будут летать по сине-небушку птицы с железными носами, будут людей клевать, как грач арбуз клюет... И будет мор на людях, глад, и восстанет брат на брата и сын на отца... Останется народу, как от пожара травы». Што ж, — помолчав продолжал Максим: — и на самом деле сбылось: телеграф выдумали, — вот тебе и проволока! А железная птица—еропланы. Мало они нашева брата

подолбили? И голод будет. Мои вон спротив энтих годов в половину хлеба сеют, да и каждый хозяин так. По станицам стар да мал остались, а хлоп неурожай — вот и «глад» вам.

— А брат на брата — это как вроде брехня? — спросил Петро Мелехов, поправляя огонь.

— Погоди и этова народ достигнет!

— Власть не установют и забрухаются, — вмешался Федот Бодовсков.

— Ишо усмирять чертей придется.

— Ты сначала с германцем расхлебай, — засмеялся Кошевой.

— Што ж, повоюем ишо...

Аникушка, деланным испугом морща голощекое, бабье лицо, воскликнул:

— Царица наша лохманогая, до каких же пор все «повоюем»?

— До тех пор, покеда ты, скопец, шерстью обрастешь,— поддел его Кошевой.

Сидевшие у огня дружно засмеялись. Петро поперхнулся дымом и, кашляя, глядя на Аникушку глазами, полными слез, тыкал в его сторону пальцем.

— Волос он — дурак... — смущенно бормотал Аникушка: — он и иде не надо растет... Зря ты, Кошевой, ногами болтаешь...

— Нет, уж хватит! Хлебнули через край! — вспыхнул неожиданно Грязнов. — Мы тут бедствуем, во вшах погибаем, а семьи наши там нужду принимают, да ить как?.. режь — кровь не потекет.

— Ты чево взбупрился? — насмешливо, пожевывая пшеничный ус, спросил Петро.

— Известно чево... — за Грязнова ответил Меркулов и надежно захоронил улыбку в курчавой, цыганской бороде. — Известно, нудится казак... тоскует... Иной раз пастух выгонит табун на зеленку: покеда солнце росу подбирает, — скотинка ничево, кормится, а как станет солнце в дуб, заюжит овод, зачнет скотину сечь, — вот тут... — Меркулов шельмовато стрельнул глазами в казаков, продолжал, повернувшись к Петру: — тут-то, господин вахмистр, и нападает на скотину бзык. Ну, да ты знаешь! Не из суцких, небось! Сам быкам хвосты крутил... Обнаковенно, какая-нибудь телка задерет хвост на спину, мыкнет — да как учешет! А за ней весь табун. Пастух бегет: «ая-яй!.. ая-яй!..» Только иде ж там?!. Метется табун лавой, нехуже как мы под Незвиской на немцев лавой ходили. Иде ж там, рази удержишь?

— Так к чему это загинаешь-то?

Меркулов ответил не сразу. Намотав на палец завиток смолистой бороды, дернул его ожесточенно, заговорил уже деловито и без улыбки:

— Четвертый год воюем... так? На четвертый перевалило, как нас в окопы загнали. За што и чево? — никто не разумеет... К тому и гутарю, што в скорости какой-нибудь Грязнов али Мелехов бзыкнет с фронта, а за ним полк, а за полком армия... Будя!

— Вон ты куда...

— Туда самое! Не слепой, вижу: на волоске все держится. Тут только шумнуть «брысь!» — и полезет все, как старый зипун с плеч. На четвертом году и нам солнце в дуб стало.

— Ты бы полегше! — посоветовал Бодовсков. — А то Петро... он ить вахмистр...

— Я товарищев кубыть не трогал! — вспыхнул Петро.

— Не серчай! Шутейно сказал.

Бодовсков смутился, поворочал узловатыми пальцами босых ног и встал, пошлепал к кормушке.

В углу, у цыбиков прессованного сена, вполголоса разговаривали казаки других хуторов. Из них лишь двое были с хутора Каргинского — Фадеев и Каргин, остальные восемь — разных хуторов и станиц.

Спустя немного они запели. Заводил чирской казак Алимов. Он начал-было плясовую, но кто-то шлепнул его по спине, простуженно рявкнул:

— Отставить!..

— Эй, вы, сироты, полозьте к огню! — пригласил Кошевой.

В костер кинули щепки (осколки разбитого на полустанке забора). При огне веселее подняли песню:

— Конь боевой с походным вьюком,
У церкви ржет, когой-то ждет.
В ограде бабка плачет с внуком,
Жена-молодка слезы льет.
А из дверей святого храма
Казак в доспехах боевых идет,
Жена коня ему подводит,
Племянник пику подает...

В соседнем вагоне двухрядка, хрипя мехами, резала казачка. По досчатому полу безжалостно цокотали каблуки казенных сапог, кто-то дурным голосом вякал, голосил:

— Эх, вы горьки хлопоты,
Тесны царски хомуты!
Казаченькам выи труть —
Ни вздохнуть, ни воздохнуть.
Пугачов по Дону кличет,
По низовьям голи зычет:
«Атаманы, казаки!..»

Второй, заливая голос первого, верещал несуразно тонкой скороговоркой:

— Царю верой—правдой служим,
По своим жалмеркам тужим.
Баб найдем—тужить не будем.
А царю м... полудим!
Ой, сыпь! Ой, жги!..
У-эх! Ух! Ух! Ха!.. —

Казаки давно уже оборвали песню и вслушивались в бесшабашный гомон, разраставшийся в соседнем вагоне, перемигиваясь, сочувственно улыбаясь. Петро Мелехов не выдержал и захохотал:

— Эк дьяволы их разымают!

У Меркулова в коричневых, крапленых желтой искрой глазах замигали веселые светлячки; он вскочил на ноги, улавливая такт, носком сапога посыпал мельчайшее просо дроби и, вдруг топнув, легко, пружинисто, кругло пошел на присядку. Плясали все по очереди — грелись движением. В соседнем вагоне давно уж затихли двухрядные голоса, — там уже хрипло и крупно ругались. А тут бились в пляске, беспокоили лошадей и кончили только, когда вломавшийся в раж Аникушка, во время одного необычайнейшего по замысловатости колена, упал задом на огонь. Его с хохотом подняли, при свете свечного огарка долго оглядывали новехонькие шаровары, насмерть сожженные сзади, и концы припаленной ватной теплушки.

— Скинь шаровары-то! — сожалея, советовал Меркулов.

— Ты, цыган, сдурел? А в чем же я?

Меркулов порылся в саквах, достал холщевую бабью исподницу. Огонь раздули вновь. Меркулов держал рубаху за узкие плечики, откидываясь назад, стоная от хохота, говорил:

— Вот!.. Ох! Ох! Украл я ее на станции, с забора... На портянки блюл... Ох! Пороть не бу-у-уду... Бери!..

Силком обряжая ругавшегося Аникушку, ржали так смачно и густо, что из дверей соседних вагонов повысунулись головы любопытных, в ночной темноте орали завистливые голоса:

— Чево вы там?

— Жеребцы проклятые!

— Чево зашлись-то?

— Железку нашли, дурочкины сполюбовники?

На следующей остановке притянули из переднего вагона гармониста, из других вагонов битком-набились казаки, сломали кормушки, толпились, прижимая лошадей к стене. В крохотном кругу выхаживал Аникушка. Белая рубаха, с здоровенной, как видно, бабищи, была ему

длинна, путалась в ногах, но рев и хохот поощряли — плясал он до изнеможения.

А над намокшей в крови Беларусью скорбно слезились звезды. Провалом зияла, дымясь и уплывая, ночная небесная чернь. Ветер пресмыкался над землей, напитанной горькими запахами листьев — падалицы, суглинистой мочливой ржавчины, мартовского снега...

IX

Через сутки полк был уже неподалеку от фронта. На узловой станции эшелоны остановили. Вахмистры разнесли приказ: «выгружаться». По подмостям торопливо сводили лошадей, седлали, бегали в вагоны за позабытыми второпях вещами, выкидывали прямо на мокрый песчаник путей растрепанные цибики сена, суетились.

Мелехова Петра позвал ординарец командира полка.

— Иди на вокзал, командир кличет.

Петро, поправляя ремень на шинели, неспешно пошел к платформе.

— Аникей, пригляди за моим конем, — попросил он топтавшегося у лошадей Аникушку.

Тот молча поглядел ему вслед, на будничном, хмуром лице его озабоченность сливалась с обычной скукой. Петро шагал, глядя на свои сапоги, обрызганные охровой глинистой грязью, раздумывая: зачем бы это он понадобился командиру полка. Внимание его привлекла небольшая толпа, собравшаяся в конце платформы у бака с кипятком. Он подошел, еще издали вслушиваясь в разговор. Человек двадцать солдат окружили рослого рыжеватого казака, стоявшего спиной к баку в неловкой затравленной позе. Петро, вытянув голову, поглядел на смутно знакомое забородатевшее лицо рыжеватого казака-атаманца, на цифру «52» на синем урядницком погоне, решил, что где-то и когда-то видел этого человека.

— Как же это ты ухитрился? А еще гайку тебе наш[illegible]вали... — злорадно допытывался у рыжеватого казака вольноопределяющийся, с веснушчатым умным лицом.

— Што такое? — полюбопытствовал Петро, тронув плечо стоявшего к нему спиной ополченца.

Тот повернул голову, ответил нехотя:

— Дизиртира пумали... Из ваших казаков.

Петро, усиленно напрягая память, пытался вспомнить, — где он видел это широкое рыжеусое и рыжебровое лицо атаманца. Не отвечая на назойливые вопросы вольноопределяющегося, атаманец редкими глотками тянул кипяток из медной кружки, сделанной из гильзы сна-

ряда, прикусывая черным размоченным в воде сухарем. Далеко расставленные выпуклые глаза его щурились, прожевывая и глотая, он шевелил бровями, глядел вниз и по сторонам. Рядом с ним, придерживая за штык винтовку, стоял конвоировавший его пожилой коренастый солдат. Атаманец-дезертир допил из кружки, повел усталыми глазами по лицам бесцеремонно разглядывавших его солдат, и в голубых, по-детски простых глазах его неожиданно вспыхнуло ожесточение. Торопливо глотнув, он облизал губы, крикнул грубым непнущимся басом:

— Диковина вам? Пожрать не даете, сволочи! Што вы, мать вашу, людей не видали, што ль?

Солдаты засмеялись, а Петро едва лишь услышал голос дезертира, сразу, как это всегда бывает, с поразительной отчетливостью вспомнил, что атаманец этот — с хутора Рубежина, Еланской станицы, по фамилии Фомин, и что у него еще до войны на еланской годовой ярмарке торговал он с отцом трехлетка-бычка.

— Фомин! Яков! — окликнул он, протискиваясь к атаманцу.

Тот неловким, растерянным движением сунул на бак кружку, прожевывая, глядя на Петра смущенными улыбающимися глазами, сказал:

— Не признаю, браток...

— С Рубе́жина ты?

— Оттель. А ты либо еланский?

— Я-то вешенский, а тебя помню. С батей лет пять назад бычка у тебя торговали.

Фомин, улыбаясь все той же растерянной, ребячьей улыбкой, как видно, силился вспомнить.

— Нет, замстило... не упомню тебя, — с видимым сожалением сказал он.

— Ты в 52-м был?

— В 52-м.

— Убег, стал-быть? Как же это ты, братец?!.

В это время Фомин, сняв папаху, доставал оттуда потрепанный кисет. Сутулясь, он медленно сунул папаху подмышку, оторвал косой угол бумажки и только тогда прижал Петра строгим, влажно мерцающим взглядом.

— Невтерпеж, братушка... — сказал невнятно.

Взгляд этот кольнул Петра. Он крякнул, вобрал в рот желтоватый ус.

— Ну, землячки, кончайте разговоры, а то через вас как бы мне не попало, — вздохнул, вскидывая винтовку, коренастый солдат-конвоир. — Иди-ка, папаша!

Фомин, торопясь, сунул в подсумок кружку, попрощался с Петром, глядя в сторону, и зашагал в комендантскую увалистой, медвежковатой роскачью.

На вокзале, в буфете бывшего первого класса, за столиком гнулся командир полка и два сотенных командира.

— Ты, Мелехов, заставляешь себя ждать, — поморгал полковник устало озлобленными глазами.

Петро, выслушав известие о том, что сотня его поступает в распоряжение штаба дивизии и что необходимо усиленно присматривать за казаками, сообщая о всякой замеченной перемене в их настроении командиру сотни. Он, не сморгнув, глядел в глаза полковника, слушал внимательно, но в памяти неотступно, цепко, как приклеенный, держался мерцающий влажный взгляд Фомина и тихое «невтерпеж, братушка...»

Он вышел из парного теплого вокзала, направился к сотне. Здесь же, на станции, стоял остававшийся полковой обоз второго разряда. Подходя к своей теплушке, Петро увидел обозных казаков и сотенного коваля. При взгляде на коваля у Петра выветрился из памяти Фомин и разговор с ним, он ускорил шаги с целью переговорить относительно перековки коня (в этот миг над ним уже довлели будничные заботы и тревоги), но из-за красного угла вагона выступила женщина, нарядно покрытая белым пуховым шарфом, одетая не так, как одеваются в польско-белорусской земле. Странно знакомый склад фигуры заставил Петра внимательней вглядеться в женщину. Она вдруг повернулась к нему лицом, заспешила навстречу, неуловимо поводя плечами, тонким, не-бабьим станом. И, еще не различая лица, по этой вьющейся легковесной походке Петро угадал жену. Колкий приятный холодок докатился до сердца. Радость была тем сильнее, чем неожиданней. Нарочно укоротив шаг, чтобы наблюдавшие за ним обозные не подумали о том, что он особенно уж рад, Петро шел навстречу. Он степенно обнял жену, поцеловал ее три раза, хотел что-то спросить, но глубокое внутреннее волнение пробилось наружу — мелко задрожали губы и будто отнялся язык.

— Не ждал... — заикаясь, выговорил он, наконец.

— Голубок мой! То-то ты да переменился!.. — Дарья всплеснула руками. — Ты как будто чужой... Видишь, приехала проведать... Наши не пускали: «Куда тебя понесет?!» Нет, думаю, поеду, проведаю, родимова... — тарахтела она, прижималась к мужу, заглядывая в глаза ему увлажненными глазами.

А у вагонов толпились казаки, глядя на них, покрякивали, перемигивались, нудились.

— Подвалило счастье Петру...

— Моя волчиха и не приедет, отроилась.

— Там у ней без Нестера десятеро!

— Мелехов хучь бы своему взводу на ночушку бабу пожертвовал... На бедность на нашу... Кх-м!..

— Пойдемте, ребята! Кровью изойдешь, глядючи как она к нему липнет!

В этот момент Петро не помнил, что собирался бить жену смертным боем, ласкал ее на людях, гладил большим обкуренным пальцем писанные дуги ее бровей, радовался. Дарья тоже забыла, что только две ночи назад спала она в вагоне с драгунским ветеринарным фельдшером, вместе с ней ехавшим из Харькова в полк. У фельдшера были необычайно пушистые и черные усы, но ведь все это было две ночи назад, а сейчас она со слезами искренней радости обнимала мужа, смотрела на него правдивыми ясными глазами...

X

По возвращении из отпуска есаул Евгений Листницкий получил назначение в 14-й донской казачий полк. В свой полк, в котором служил раньше и из которого ему пришлось еще до февральского переворота так позорно бежать, он не явился, а прямо заехал в штаб дивизии, и начальник штаба, молодой генерал, с громкой донской дворянско-казачьей фамилией, легко устроил ему перевод.

— Я знаю, есаул — говорил он Листницкому, уединясь с ним в своей комнате: — что вам трудно будет работать в старой обстановке, потому что казаки настроены против вас, ваше имя для них одиозно, и, разумеется, будет благоразумней, если вы поедете в 14-й полк. Там исключительно славный подбор офицеров, да и казаки потверже, посерее — большинство из южных станиц Усть-Медведицкого округа. Там вам лучше будет. Ведь вы, кажется, сын Николая Алексеевича Листницкого?— помолчав, спросил генерал и, получив утвердительный ответ, продолжал: — С своей стороны, могу заверить, что мы ценим офицеров таких, как вы. В наше время даже среди офицерского состава большинство двурушников. Ничего нет легче, как переменить веру, а то и двум богам молиться... — горько закончил начштаба.

Листницкий с радостью принял перевод. В этот же день он выехал в Двинск, где находится 14-й полк, а через сутки уже представился командиру полка, полковнику Быкадорову, и с удовлетворением осознал правдивость слов начштаба дивизии: офицеры в большинстве — монархисты; казаки, на треть разбавленные старообрядцами Усть-Хоперской, Кумылженской, Глазуновской и других станиц, были настроены отнюдь не революционно, на верность Временному правительству присягали неохотно, в событиях, кипевших вокруг, не разбирались, да и не хотели разбираться; в полковой и сотенные комитеты прошли казаки подхали-

мистые и смирные... С радостью вздохнул Листницкий в новой обстановке.

Среди офицеров он встретил двух сослуживцев по Атаманскому полку, державшихся обособленно, остальные были на редкость сплочены, единодушны, открыто поговаривали о восстановлении династии.

Полк около двух месяцев простоял в Двинске, собранный в единый кулак, отдохнувший, подтянутый. До этого сотни, прикрепленные к пешим дивизиям, бродили по фронту от Риги до Двинска, но в апреле чья-то заботливая рука слила все сотни, — полк был наготове. Казаки, опекаемые суровым офицерским надзором, выходили на ученье, выкармливали лошадей, жили размеренной улиточной жизнью, оставаясь вне всякого воздействия извне.

Среди них были смутные предположения об истинном предназначении полка, но офицеры говорили, не таясь, что в недалеком будущем полк в чьих-нибудь надежных руках еще покрутит колесо истории.

Близкий дыбился фронт. Армии дышали смертной лихорадкой, нехватало боевых припасов, продовольствия; армии многоруко тянулись к призрачному слову «мир»; армии по-разному встречали временного правителя республики Керенского и, понукаемые его истерическими криками, спотыкались в июньском наступлении; в армиях вызревший гнев плавился и вскипал, как вода в роднике, выметываемая глубинными ключами...

А в Двинске жили казаки мирно, тихо: желудки лошадей переваривали овес и макуху, память казаков заращивала тяготы, перенесенные на фронте, офицеры аккуратно посещали офицерское собрание, недурно столовались, горячо спорили о судьбах России...

Так до первых чисел июля. Третьего — приказ: «не медля ни минуты — выступать». Эшелоны полка потянулись к Петрограду. Седьмого июля копыта казачьих коней уже цокотали по одетым в торцовую чешую улицам столицы.

Полк расквартировали на Невском. Под сотню Листницкого отвели пустовавшее торговое помещение. Казаков ждали с нетерпением и радостью, — об этом красноречиво свидетельствовала та заботливость столичных властей, с какой были заранее оборудованы предназначавшиеся для них помещения. Заново окрашенные стены блестели известкой, глянцем лоснились начисто вымытые полы, от сосновых свежих нар смолистые запахи; почти уютно было в светлом, опрятном полуподвале. Листницкий, морщась под пенсне, внимательно осмотрел помещение, походил над слепящими белизной стенами, решил, что лучшего, в смысле удобств, не остается и желать. Удовлетворенный осмотром, он, в сопровождении маленького, изящно одетого представителя городского управления, на долю которого выпало встречать казаков, направился к вы-

ходу во двор, но тут произошел неприятный казус: держась за дверную скобу, он увидел на стене мастерски выцарапанный каким-то острым предметом рисунок — оскаленную собачью голову и метлу. Видно, кто-то из рабочих, трудившихся над оборудованием помещения, знал, для кого оно предназначалось...

— Что это? — подрожав бровями, спросил Листницкий у сопровождавшего его представителя.

Тот обежал рисунок расторопно-мышастыми глазками, страшно засопел. Кровь так густо кинулась ему в лицо, что даже крахмальный воротник сорочки словно порозовел на нем...

— Простите, господин офицер... злоумышленная рука...

— Надеюсь без вашего ведома изобразили здесь эмблему опричины?

— Что вы?! Что вы?!. Помилуйте!.. Большевистский фортель... Какой-то негодяй осмелился!.. Я сейчас же прикажу вновь выбелить стену. Чорт знает что!.. Простите... такое нелепое происшествие.. Смею вас уверить, мне совестно за чужую подлость...

Листницкому стало искренне жаль уничтоженного, смущенного гражданина. Он смягчил неумолимо-холодный взгляд, сдержанно сказал:

— Небольшой просчет художника — казаки ведь не знают русской истории. Но из этого еще не следует, что подобное отношение к себе мы можем поощрять...

Представитель твердым холеным ногтем выскребал в известке рисунок, пачкал дорогое английское пальто мельчайшей оседавшей на нем белой пылью, тянулся на цыпочках перед стеной. Листницкий, протирая пенсне, улыбался, но горькая, желчная грусть томилась в нем в этот миг.

«Вот как встречают нас и вот что кроется за внешней, показной стороной!.. Но неужели для всей России мы являемся прообразом опричины?», — думал он, шагая по двору к конюшням и невнимательно, безразлично вслушиваясь в слова спешившего за ним представителя.

В глубокий, просторный колодезь двора отвесно падали солнечные лучи. Из окон многоэтажных домов жильцы, свесившись, разглядывали казаков, заполнивших весь двор, — сотня размещала в конюшне лошадей. Освободившиеся казаки кучками стояли и сидели на корточках у стен, в холодке.

— Что же не идете, ребята, в помещение? — спросил Листницкий у ближних.

— Успеется, господин есаул.

— Надоисть ишо и там...

— Коней вот расстановим,— тогда уж.

Листницкий осмотрел склад, предназначенный под конюшни, строго, стараясь вернуть себе прежнюю неприязнь к сопровождавшему его представителю, сказал:

— Войдите в соглашение с кем требуется и договоритесь вот о чем: нам необходимо прорубить еще одну дверь. Ведь не можем же мы иметь на сто двадцать лошадей три двери! Этак в случае тревоги нам понадобится полчаса для того, чтобы вывести лошадей... Странно! Неужели это обстоятельство нельзя было учесть в свое время? Я вынужден буду доложить об этом командиру полка.

Получив немедленное заверение, что не одна, а две двери будут сегодня же пробиты, Листницкий распрощался с представителем, сухо поблагодарив его за заботы, отдал распоряжение о назначении дневальных и пошел на второй этаж, в временную квартиру, отведенную офицерам сотни. На ходу расстегивая китель, вытирая под козырьком пот, он по черной лестнице поднялся к себе, радостно ощутив тучную сыроватую прохладу комнат. В квартире, за исключением под'есаула Атарщикова, не было никого.

— Где же остальные? — спросил Листницкий, падая на брезентовую койку и тяжело отваливая ноги в запыленных сапогах.

— На улице. Рассматривают Петроград.

— А ты что же?

— Ну, знаешь ли, не стоит. Не успели ввалиться — и уж сразу в город. Я вот почитываю о том, что происходило здесь два дня назад. Занятно!

Листницкий лежал молча, чувствуя, как на спине его приятно холодеет мокрая от пота рубашка, ему лень было встать и умыться,— сказывалась нажитая за дорогу усталость. Пересилив себя, он встал, позвал вестового. Переменив белье, долго умывался, довольно фыркал, тер лохматым полотенцем полную, с серым налетом загара шею.

— Умойся, Ваня, — посоветовал он Атарщикову: — гору с плеч скинешь... Ну, так что в газетах?

— Пожалуй, в самом деле умыться. Неплохо — говоришь?.. А в газетах что? — описание выступления большевиков, правительственные мероприятия... Почитай!

Повеселевший после умыванья Листницкий взялся-было за газету, но его пригласили к командиру полка. Нехотя поднявшись, он надел новый китель, пахнущий мылом, неприлично помятый за дорогу, прицепил шашку и вышел на проспект. Перейдя на другую сторону, повернулся, разглядывая дом, где расположилась сотня. С внешней стороны, по типу, дом ничем не отличался от остальных: пятиэтажный, облицованный дымчатым ноздреватым камнем, стоял он в ровном строю таких же домов. Закуривая, Листницкий медленно тронулся по тротуару. Гу-

стая толпа пенилась мужскими соломенными шляпами, котелками, кепками, изысканно-простыми и нарядными шляпками женщин. В общем потоке изредка мелькала зеленым демократическим пятном фуражка военного и исчезала, поглощенная переливами разноцветных красок.

Со взморья волной шел бодрящий свежий ветерок, но, разбиваясь о крутые громады строений, растекался жидкими неровными струями. По стальному, с сиреневым оттенком, неяркому небу плавились на юг тучи. Молочно-белые гребни их зубчатились рельефно и остро. Над городом висела парная преддождевая духота. Пахло нагретым асфальтом, перегарью бензина, близким морем, волнующим невнятным запахом дамских духов и еще какой-то разнородной неделимой смесью запахов, присущей всякому многолюдному городу.

Листницкий, покуривая, медленно шел правой стороной тротуара, изредка ловил на себе боковые почтительные взгляды встречных. Вначале он испытывал некоторое стеснение за свой помятый китель и несвежую фуражку, но потом решил, что фронтовику, пожалуй, и нечего стыдиться своей внешности, а тем более ему, только что сегодня покинувшему вагон.

На тротуарах ленивые, оливково-желтые от солнца, лежали теневые пятна от парусиновых тентов, натянутых над входами в магазины и кафе. Ветер, раскачивая, трепал выжженную парусину, пятна на тротуарах шевелились, рвались из-под шаркающих ног людей. Несмотря на послеобеденный час, проспект кишел многолюдьем. Листницкий, отвыкший за годы войны от города, с радостным удовлетворением впитывал в себя разноголосый гул, перевитый смехом, автомобильными гудками, криком газетчиков, и, чувствуя себя в этой толпе прилично одетых, сытых людей своим, близким, все же думал:

«Какие все вы сейчас довольные, радостные, счастливые,— все: и купцы, и биржевые маклеры, и чиновники разных рангов, и помещики, и люди голубых кровей! А что с вами было три дня назад? Как вы выглядели, когда чернь и солдатня расплавленной рудой текли вот по этому проспекту, по улицам? По совести, и рад я вам и не рад. И благополучию вашему не знаю как радоваться...»

Он попробовал проанализировать свое раздвоенное чувство, найти истоки его и без труда решил, что потому так мыслит и чувствует, что война и то, что пришлось пережить там, отдалили его от этого скопища сытых, довольных.

«Ведь вот этот молодой, упитанный,— думал он, встречаясь глазами с полным, краснощеким и безусым мужчиной:— почему он не на фронте? Наверно, сын заводчика или какого-нибудь торгового зубра, уклонился, подлец, от службы,— начхать ему на родину,— и «работает» на оборону, жиреет, с удобствами любит женщин...»

«Но с кем же ты-то в конце концов?» — задал он сам себе вопрос и, улыбаясь, решил: «Ну, конечно же, вот с этими! В них частичка самого меня, а я частичка их коллектива... Все, что есть хорошего и дурного в моем классе, есть в той или иной мере и у меня. Может быть, у меня немного тоньше кожа, чем у этого вот упитанного боровка, может быть, поэтому я болезненный реагирую на все, и наверняка, поэтому я честно на войне, а не «работаю на оборону», и именно поэтому тогда зимой, в Могилеве, когда я увидел в автомобиле свергнутого императора, уезжавшего из ставки, и его скорбные губы, и потрясающее, непередаваемое положение руки, беспомощно лежавшей на колене, я упал на снег и рыдал, как мальчишка... Ведь вот я по-честному не приемлю революцию, не могу принять! И сердце, и разум противятся... Жизнь положу за старое, отдам ее, не колеблясь, без позы, просто, по-солдатски. А многие ли на это пойдут?»

Бледнея, с глубочайшей волнующей яркостью воскресил он в памяти февральский богатый красками, исход дня, губернаторский дом в Могилеве, чугунную запотевшую от мороза огорожу и снег по ту сторону ее, испещренный червонными бликами низкого, покрытого морозно-дымчатым флером солнца. За покатым скатом Днепра небо крашено лазурью, киноварью, ржавой позолотой, каждый штрих на горизонте так неосязаемо воздушен, что больно касаться взглядом. У выезда небольшая толпа из чинов ставки, военных, штатских... Выезжающий крытый автомобиль. За стеклом, кажется, Дитерихс и царь, откинувшийся на спинку сиденья. Обуглившееся лицо его с каким-то фиолетовым оттенком. По бледному лбу косой черный полукруг папахи, формы казачьей конвойной стражи.

Листницкий почти бежал мимо изумленно оглядывавшихся на него людей. В глазах его падала от края черной папахи царская рука, отдававшая честь, в ушах звенел бесшумный холостой ход отъезжающей машины и унизительное безмолвие толпы, молчанием провожавшей последнего императора ..

По лестнице дома, где помещался штаб полка, Листницкий поднимался медленно. У него еще дрожали щеки и кровянисто слезились припухшие заплаканные глаза. На площадке второго этажа он выкурил под ряд две папиросы, протирая пенсне, через две ступеньки взбежал на третий этаж.

Командир полка отметил на карте Петрограда район, в котором сотня Листницкого должна была нести охрану правительственных учреждений, перечислил учреждения, с мельчайшими деталями сообщил о том, какие и в какое время надо ставить и сменять караулы, в заключение сказал:

— В Зимний дворец Керенскому...

— Ни слова о Керенском!..— заливаясь смертельной бледностью, громко прошептал Листницкий.

— Евгений Николаевич, надо брать себя в руки...

— Полковник, я вас прошу!

— Но, милый мой...

— Я прошу!

— Нервы у вас...

— Раз'езды к Путиловскому сейчас прикажете выслать?— тяжело дыша, спросил Листницкий.

Полковник, кусая губы, улыбаясь, пожал плечами, ответил:

— Сейчас же! И непременно со взводным офицером.

Листницкий вышел из штаба нравственно опустошенный, раздавленный воспоминаниями пережитого и разговором с командиром полка. Почти у самого дома увидел казачий раз'езд стоявшего в Петрограде 4-го донского полка. На уздечке светло-рыжего офицерского коня, завявшие, понуро висели живые цветы. По белоусому лицу офицера сквозила улыбка.

— Да здравствуют спасители родины!..— крикнул, сходя с тротуара и размахивая шляпой, какой-то экзальтированный пожилой господин.

Офицер любезно приложил ладонь к козырьку. Раз'езд тронулся рысью. Листницкий посмотрел на взволнованное мокрогубое лицо приветствовавшего казаков господина, на его тщательно повязанный цветастый галстух и, морщась, ссутулившись, шмыгал в под'езд своего дома.

XI

Назначение генерала Корнилова главнокомандующим Юго-Западного фронта встречено было офицерским составом 14-го полка с большим сочувствием. О нем говорили с любовью и уважением, как о человеке, обладающем железным характером и несомненно могущем вывести страну из тупика, в который завело ее Временное правительство.

Особенно горячо встретил это назначение Листницкий. Он через младших офицеров сотни и близких к нему казаков попытался узнать, как относятся к этому казаки, но полученные сведения его не порадовали: молчали казаки или отделывались апатичными ответами:

— Нам все одно...

— Какой он, кто ево знает...

— Кабы он нащет замиренья постарался, тогда, конешно...

— Нам от ево повышенья легше не будет, небось!

Через несколько дней среди офицеров, общавшихся с более широкими кругами гражданского населения и военных, передавались настойчивые слухи, что будто бы Корнилов жмет на Временное правительство, требуя восстановления смертной казни на фронте и проведения многих решительных мероприятий, от которых зависит участь армии и исход войны. Говорили о том, что Керенский боится Корнилова и, наверное, приложит все усилия к тому, чтобы заменить его на должности главнокомандующего фронта более податливым генералом. Назывались известные в военной среде имена генералов.

19 июля всех поразило правительственное сообщение о назначении Корнилова верховным главнокомандующим. Вскоре же под'есаул Атарщиков, имевший обширные знакомства в Главном комитете офицерского союза, рассказывал, ссылаясь на вполне достоверные источники, что Корнилов в записке, приготовленной для доклада Временному правительству, настаивал на необходимости следующих главнейших мероприятий: введения на всей территории страны в отношении тыловых войск и населения юрисдикции военно-революционных судов, с применением смертной казни за ряд тягчайших преступлений, преимущественно военных; восстановления дисциплинарной власти военных начальников; введения в узкие рамки деятельности комитетов и установления их ответственности перед замком и т. д.

В этот же день, вечером, Листницкий в разговоре с офицерами своей сотни и других сотен остро и прямо поставил вопрос: с кем они идут?

— Господа офицеры! — говорил он со сдержанным волнением.— Мы живем дружной семьей. Мы знаем, что представляет каждый из нас, но до сей поры многие больные вопросы между нами остались невыясненными. И вот именно теперь, когда отчетливо намечаются перспективы расхождения верховного с правительством, нам необходимо ребром поставить вопрос: с кем и за кого мы? Давайте же поговорим по-товарищески, не кривя душой.

Под'есаул Атарщиков ответил первый:

— Я за генерала Корнилова готов и свою, и чужую кровь цедить! Это кристальной честности человек, и только он один в состоянии поставить Россию на ноги. Смотрите, что он делает в армии! Ведь только благодаря ему отчасти развязали руки военачальникам, а было сплошное засилье комитетов, братанье, дезертирство. Какой может быть разговор? Всякий порядочный человек за Корнилова!

Похожий на породистого борзого кобеля, узкий в тазу, тонконогий и непомерно грудастый и широкоплечий Атарщиков говорил запальчиво. Видно, трогал его за живое поднятый вопрос. Кончив, он оглядел группировавшихся у стола офицеров, выжидательно постукал по порт-

сигару мундштуком папиросы. На нижнем веке его правого глаза коричневой выпуклой горошиной сидела родинка. Она мешала верхнему веку плотно прикрывать глаз, и от этого при первом взгляде на Атарщикова, создавалось впечатление, будто глаза его тронуты постоянной снисходительно-выжидающей усмешкой.

— Если выбирать между большевиками, Керенским и Корниловым, то, разумеется, мы за Корнилова.

— Нам трудно судить, чего хочет Корнилов: только ли восстановления порядка в России, или восстановления еще чего-нибудь...

— Это не ответ на принципиальный вопрос!

— Нет, ответ!

— А если и ответ, то неумный, во всяком случае.

— А чего вы боитесь, сотник? Восстановления монархии?

— Я не боюсь этого, а, напротив, желаю.

— Так в чем же дело?

— Господа! — твердым, обветревшим голосом заговорил Долгов, недавний вахмистр, получивший за боевые отличия хорунжего. — О чем вы спорите? А вы степенно скажите, што нам, казакам, надо держаться за генерала Корнилова, как дитю за материн подол. Это безо всяких лукавствий, напрямки! Оторвемся от нево — пропадем! Расея навозом нас загребет. Тут уж дело ясное: куда он — туда и мы.

— Вот это — да!..

Атарщиков с восхищением хлопнул Долгова по плечу и смеющимися глазами уставился в Листницкого. Тот, улыбаясь, волнуясь, разглаживал на коленях складки брюк.

— Так как же, господа офицеры, атаманы?— приподнятым голосом воскликнул Атарщиков.— За Корнилова мы?..

— Ну, конечно!

— Долгов сразу разрубил гордиев узел.

— Все офицерство за него!

— Мы не хотим быть исключением.

— Доротому Лавру Георгиевичу, казаку и герою,—ура!

Смеясь и чокаясь, офицеры пили чай. Разговор, утративший недавнюю напряженность, вертелся вокруг событий последних дней.

— Мы-то гужом за верховнова, а вот казаки мнутся...— нерешительно сказал Долгов.

— Как это «мнутся»?— спросил Листницкий.

— А так. Мнутся — и шабаш... Им, сукиным сынам, по домам, к бабам охота... Жизня-то нетеплая остобрыдла...

— Наше дело — увлечь за собой казаков!— брякнул кулаком по столу сотник Чернокутов.— Увлечь! На то мы и носим офицерские погоны!

— Казакам надо терпеливо раз'яснять, с кем им по пути.

Листницкий постучал ложечкой о стакан, собрав в кучу внимание офицеров, раздельно сказал:

— Прошу запомнить, господа, что наша работа сейчас должна сводиться вот именно, как сказал Атарщиков, к раз'яснению казакам истинного положения вещей. Казака надо вырвать из-под влияния комитетов. Тут нужна ломка характеров, примерно, такая же, если не бóльшая, которую большинству из нас пришлось пережить после февральского переворота. В прежнее время,— допустим, в шестнадцатом году,— я мог избить казака, рискуя тем, что в бою он мне пустит в затылок пулю, а после Февраля пришлось свернуться, потому что, если бы я ударил какого-нибудь дурака,— меня убили бы здесь же, в окопах, не дожидаясь удобного момента. Теперь совсем иное дело Мы должны,— Листницкий подчеркнул это слово: — сродниться с казаком! От этого зависит все. Вы знаете, чтó творится сейчас в 1-м и 4-м полках?

— Кошмар!

— Вот именно кошмар! — продолжал Листницкий.— Офицеры отгораживались от казаков прежней стеной, и в результате казаки все поголовно подпали под влияние большевиков и сами на девяносто процентов стали большевиками. Ведь ясно, что грозных событий нам не миновать... Дни 3 и 5 июля только суровое предостережение всем беспечным... Или нам за Корнилова придется драться с войсками революционной демократии, или большевики, накопив силы и расширив свое влияние, качнут еще одной революцией. У них передышка, концентрация сил, а у нас — расхлябанность... Да разве же можно так?!. Вот в будущей-то перетряске и пригодится надежный казак...

— Мы без казаков, конешно, ноль без палочки,— вздохнул Долгов.

— Верно, Листницкий!

— Очень даже верно.

— Россия одной ногой в могиле...

— Ты думаешь, мы этого не понимаем? Понимаем, но иногда бессильны что-либо сделать. «Приказ № 1» и «Окопная правда» сеют свои семена.

— А мы любуемся на всходы, вместо того, чтобы вытоптать их и выжечь дотла! — крикнул Атарщиков.

— Нет, не любуемся,— мы бессильны!

— Врете, хорунжий! Мы просто нерадивы!

— Неправда!

— Докажите!

— Тише, господа!

— «Правду» разгромили... Керенский задним умом умен...

— Что это... базар, что ли? Нельзя же!

Поднявшийся гул бестолковых выкриков понемногу утих. Командир одной из сотен, с чрезвычайным интересом вслушивавшийся в слова Листницкого, попросил внимания.

— Я предлагаю дать возможность есаулу Листницкому докончить.

— Просим!

Листницкий, потирая кулаками острые углы колен, продолжал:

— Я говорю, что тогда, то-есть в будущих боях, в гражданской войне,— я только сейчас понял, что она неизбежна,— и понадобится верный казак. Надо биться и отвоевать его у комитетов, тяготеющих к большевикам. В этом кровная необходимость! Ведь в случае новых потрясений казаки 1-го и 4-го полков перестреляют своих офицеров...

— Ясно!

— Церемониться не будут!

— ...И на их опыте,— очень горьком, к слову сказать,— должны мы учиться. Казаков 1-го и 4-го полков,— хотя, впрочем, какие они теперь казаки? — в будущем придется вешать через одного, а то и просто свалить всех... Сорную траву из поля вон! Так давайте же удержим своих казаков от ошибок, за которые им придется впоследствии нести расплату.

После Листницкого взял слово тот самый командир сотни, который слушал его с таким исключительным вниманием. Старый кадровый офицер, служивший в полку девять лет, получивший за войну четыре ранения, он говорил о том, что в прежнее время тяжело было служить. Казачьи офицеры были на задворках, держались в черном теле, движение по службе было слабым и для преобладающей части офицерских кадров чин войскового старшины был посмертным; этим обстоятельством, по его словам, и об'яснялась инертность казачьих верхушек в момент низвержения самодержавия. Но, несмотря на это, он говорил, что надо всемерно поддержать Корнилова, прочнее связавшись с ним через совет союза казачьих войск и главный комитет офицерского союза.

— Пусть Корнилов будет диктатором,— для казачьих войск это спасение. При нем мы, может быть, будем даже лучше жить, чем при царе.

Время утекло далеко за полночь. Над городом простая, белесая, в распатлаченных космах облаков стояла ночь. Из окна виден был чугунно-темный шпиц адмиралтейской башни и желтый половодный разлив огней.

Офицеры проговорили до рассвета. Решено было в неделю три раза проводить с казаками беседы на политические темы, взводным офице-

рам было вменено в обязанность ежедневно заниматься со взводами гимнастикой и читкой, для того чтобы заполнить свободное время и вырвать умы казаков из разлагающей атмосферы политики. Перед уходом пели «Тихий Дон», допивали десятый самовар, под звон стаканов шутливые произносились тосты. И уже совсем перед концом Атарщиков, пошептавшись с Долговым, крикнул:

— Сейчас, в виде дессерта, угостим мы вас старинной казачьей А, ну, потише! Да окошко бы открыть, а то уж больно накурено.

Два голоса — обветревший, ломкий бас Долгова и мягкий, необычайно приятный тенор Атарщикова — вначале ошибались, путались, у каждого был свой темп песни, но под конец голоса буйно сплелись, звучали покоряюще красиво.

... Но и горд наш Дон, тихий Дон, наш батюшка—
Басурманину он не кланялся, у Москвы, как жить, не спрашивался.
А с туретчиной—ох, да по потылице шашкой острою век здоровался...
А из года в год степь донская, наша матушка,
За пречистую мать богородицу да за веру свою православную,
Да за вольный Дон, что волной шумит, в бой звала со супостатами...

Атарщиков, скрестив на коленях пальцы, на высоких тонах вел песню, за все время ни разу не сбился, несмотря на то, что, варьируя, он далеко оставлял за собой напористый бас Долгова, с виду был необычайно суров, и лишь под конец Листницкий заметил, как через коричневый кургашек родинки на глазу сбежала у него холодно сверкнувшая слезинка.

После того как офицеры чужих сотен разошлись, а оставшиеся улеглись спать, Атарщиков подсел на койку Листницкого, турсуча голубые вылинявшие подтяжки на выпуклом заслоне груди, зашептал:

— Ты понимаешь, Евгений... Я до чортиков люблю Дон, весь этот старый, веками складывавшийся уклад казачьей жизни. Люблю казаков своих, казачек — все люблю! От запаха степного полынка мне хочется плакать... И вот еще, когда цветет подсолнух и над Доном пахнет смоченными дождем виноградниками,— так глубоко и больно люблю... ты поймешь... А вот теперь думаю: не околпачиваем ли мы вот этих самых казаков? На эту ли стежку хочем мы их завернуть?..

— О чем ты? — настороженно спросил Листницкий.

Из-под воротника белой сорочки Атарщикова наивно, по-юношески трогательно смутлела шея. Над коричневой родинкой тяжко висел синий ободок века, в профиле лица виден был увлажненный свет одного полузакрытого глаза.

— Я думаю: надо ли казакам это?

— А что же в таком случае им надо?

— Не знаю... Но почему они так стихийно отходят от нас? Революция, словно разделила нас на овец и козлищ, наши интересы как будто расходятся.

— Видишь ли,— осторожно начал Листницкий: — тут сказывается разница в восприятии событий. За нами больше культуры, мы можем критически оценивать тот или иной факт, а у них все примитивней, проще. Большевики вдабливают им в головы, что надо войну кончать,— вернее, превращать ее в гражданскую. Они натравливают казаков на нас, а так как казаки устали, в них больше животного, нет того нравственного крепкого сознания долга и ответственности перед родиной, что есть у нас, то вполне понятно,— это находит благоприятную почву. Ведь что такое для них родина? Понятие, во всяком случае, абстрактное: «область Войска Донского от фронта далеко, и немец туда не дойдет»,— так рассуждают они. В этом-то вся и беда. Нужно правильно растолковать им, какие последствия влечет за собой превращение этой войны в войну гражданскую.

Листницкий говорил, подсознательно чувствуя, что слова его не доходят до цели и что Атарщиков сейчас закроет перед ним створки своей душевной раковины.

Так и произошло: Атарщиков что-то промычал невнятное, долго еще сидел молча, и Листницкий хотя и пытался, но не мог разобраться, в каких потемках мысленно бродит сейчас умолкший товарищ.

«Надо бы дать ему высказаться до конца...»,— с сожалением подумал он.

Атарщиков пожелал спокойной ночи, так и ушел, не сказав больше ни слова. На минуту потянулся к искреннему разговору, приподнял краешек той черной завесы неведомого, которой каждый укрывается от других, и вновь опустил ее.

Неразгаданность чужого, сокровенного досадно волновала Листницкого. Он покурил, полежал немного, напряженно глядя в серую ватную темень и неожиданно вспомнил Аксинью, дни отпуска, заполненные до краев ею. Уснул примиренный думами и случайными, отрывочными воспоминаниями о женщинах, чьи пути скрещивались когда-то с его путями

XII

В сотне Листницкого был казак Букановской станицы Лагутин Иван. По первым выборам он прошел в члены полкового военно-революционного комитета, до прихода полка в Петроград ничем особым себя не проявлял, но в последних числах июля взводный офицер сообщил Листницкому, что Лагутин бывает в военной секции Петроградского

совета рабочих и солдатских депутатов, связан, наверное, с советом, так как замечалось, что ведет он частые беседы с казаками своего взвода и влияет на них с отрицательной стороны. В сотне два раза были случаи отказа от назначения в караулы и раз'езды. Взводный офицер приписывал эти случаи воздействию на казаков Лагутина.

Листницкий решил, что ему необходимо как-нибудь поближе узнать Лагутина, прощупать его. Вызывать казака на откровенный разговор было глупо и неосторожно, поэтому Листницкий решил выжидать. Случай представился скоро. В конце июля третий взвод, по наряду, должен был ночью нести охрану улиц, прилегающих к Путиловскому заводу.

— Я поеду с казаками,— предупредил взводного офицера Листницкий.— Передайте, чтобы мне оседлали вороного.

Листницкий имел двух лошадей,— «на всякий случай», как говорил он. Одевшись при помощи вестового, он спустился во двор. Взвод был на конях. В мглистой, вышитой огнями темноте проехали несколько улиц. Листницкий нарочно отстал, окликнул сзади Лагутина. Тот под'ехал, поворачивая свою невзрачную лошаденку, сбоку выжидающе поглядел на есаула.

— Что нового у вас в комитете? — спросил Листницкий.

— Ничево нету.

— Ты какой станицы, Лагутин?

— Букановской.

— Хутора?

— Митькина.

Теперь лошади их шли рядом. Листницкий при свете фонарей искоса посматривал на бородатое лицо казака. У Лагутина из-под фуражки виднелись гладкие зачесы волос, на пухлых щеках неровная куделилась бородка, умные с хитринкой глаза сидели глубоко прикрытые выпуклыми надбровными дугами.

«Простой с виду, постный,— а что у него за душой? Наверное, ненавидит меня, как и все, что связано со старым режимом, с «палкой капрала»... — подумал Листницкий, и почему-то захотелось узнать о прошлом Лагутина.

— Семейный?

— Так точно. Жена и двое детишков.

— А хозяйство?

— Какое у нас хозяйство? — насмешливо, с ноткой сожаления сказал Лагутин.— Живем ни шатко, ни валко. Бык на казака, а казак на быка,— так всю жисть и крутимся... Земля-то у нас песчаная,— подумав, сурово добавил он.

Листницкий когда-то ехал на станцию Себряково через Букановскую. Он живо вспомнил эту глухую, улегшуюся на отшибе от большого шляха станицу, с юга прикрытую ровнехоньким неокидным лугом, опоясанную капризными извивами Хопра. Тогда еще с гребня, от еланской грани, верст за двенадцать, увидел он зеленое марево садов в низине, белый обглоданный мосол высокой колокольни.

— Супесь у нас,— вздохнул Лагутин.

— Домой, наверное, хочется, а?

— Как же, господин есаул! Конешно, гребтится поскорей возвернуться. Нуждишки не мало приняли за войну.

— Едва ли, брат, скоро придется вернуться...

— Придется.

— Войну-то не кончили ведь?

— Скоро прикончут. По домам скоро,— упрямо настаивал Лагутин.

— Еще между собой придется воевать. Ты как думаешь?

Лагутин, не поднимая от луки опущенных глаз, помолчал, спросил:

— С кем воевать-то?

— Мало ли с кем... Хотя бы с большевиками.

И опять надолго замолчал Лагутин, словно задремал под четкий плясовой звяк копыт. Ехали молча минуты три. Лагутин, медленно расстанавливая слова, сказал:

— Нам с ними нечево делить.

— А землю?

— Земли на всех хватит.

— Ты знаешь, к чему стремятся большевики?

— Трошки припадало слыхать...

— Так что же, по-твоему, делать, если большевики будут итти на нас с целью захвата наших земель, с целью порабощения казаков? С германцами ведь ты воевал, защищал Россию?

— Германец — дело другое.

— А большевики?

— Што ж, господин есаул,— видимо, решившись, заговорил Лагутин, поднимая глаза, настойчиво разыскивая взгляд Листницкого: — большевики последнюю землишку у меня не возьмут. У меня в аккурат один пай, им моя земля без надобности... А вот, к примеру,— вы не обижайтесь только! — у вашево папаши десять тыщев десятин...

— Не десять, а четыре.

— Ну, все одно, хучь и четыре,— рази мал кусок? Какой же это порядок, можно сказать? А кинь по России — таких, как ваш папаша, очень даже дюже много. Итак, рассудите, господин есаул, што каждый рот куска просит. И вы желаете кушать, и другие всякие люди тоже

желают исть. Это ить один цыган приучал кобылу не исть,— дескать, приобыкнет без корму. А она, сердешная, привыкала, привыкала, да на десятые сутки взяла да издохла... Порядки-то кривые были при царе, для беднова народа вовсе суковатые... Вашему папаше отрезали вон, как краюху пирога, четыре тыщи, а ить он не в два горла исть, а так же, как и мы, простые люди, в одно. Конешно, обидно за народ!.. Большевики — они верно нацеливаются, а вы говорите — воевать...

Листницкий слушал его с затаенным волнением. К концу он уже понимал, что бессилен противопоставить какой-либо веский аргумент, чувствовал, что несложными, убийственно-простыми доводами припер его казак к стене, и оттого, что заворошилось наглухо упрятанное сознание собственной неправоты, Листницкий растерялся, озлился.

— Ты что же — большевик?

— Прозвище тут не при чем... — насмешливо и протяжно ответил Лагутин. — Дело не в прозвище, а в правде. Народу правда нужна, а ее все хоронют, закапывают. Гутарют, што она давно уж покойница..

— Вот чем начиняют тебя большевики из совдепа... Оказывается, недаром ты с ними якшаешься.

— Эх, господин есаул, нас, терпеливых, сама жизня начинила, а большевики только фитиль подожгут...

— Ты эти присказки брось! Балагурить тут нечего! — уже сердито заговорил Листницкий. — Ответь мне: ты вот говорил о земле моего отца, вообще о помещичьей земле, но ведь это — собственность. Если у тебя две рубахи, а у меня нет ни одной — что же, по-твоему, я должен отбирать у тебя?

Листницкий не видел, но по голосу Лагутина догадался, что тот улыбается.

— Я сам отдам лишнюю рубаху. И отдавал на фронте не лишнюю, а последнюю, шинель на голом теле носил, а вот землицей што-то никто не прошибется...

— Да ты что — землей не сыт? Нехватает тебе? — повысил Листницкий голос.

В ответ, взволнованно задыхаясь, почти крикнул побелевший Лагутин:

— А ты думаешь я об себе душой болею? В Польше были — там как люди живут? Видал аль нет? А кругом нас мужики как живут?.. Я-то видал! Сердце кровью закипает!.. Што ж, думаешь, мне их не жалко, што ль?.. Я, может быть, об этом, об поляке, изболелся весь, на его горькую землю интересуясь.

Листницкий хотел сказать что-то едкое, но от серых лобастых корпусов Путиловского завода — пронзительный крик «держи!». Грохотом пробарабанил конский топот, резнул слух выстрел. Взмахнув плетью,

Листницкий выпустил коня. Они с Лагутиным одновременно подскакали к взводу, сгрудившемуся возле перекрестка. Казаки, звеня шашками, спешивались, в средине бился схваченный ими человек.

— Что? Что такое? — загремел Листницкий, врезываясь конем в толпу.

— Гад какой-то камнем...

— Шибнул — и побег.

— Дай ему, Аржанов!

— Ишь, ты, сволочь! В шиб-прошиб играешь?

Взводный урядник Аржанов, свесившись с седла, держал за шиворот небольшого, одетого в черную распоясанную рубаху человека. Трое спешившихся казаков крутили ему руки.

— Ты кто такой? — не владея собой, крикнул Листницкий.

Пойманный поднял голову, на мутно-белом лице, покривясь, плотно сомкнулись безмолвные губы.

— Ты кто? — повторил Листницкий вопрос. — Камнями швыряешься, мерзавец? Ну? Молчишь? Аржанов...

Аржанов прыгнул с седла, выпустив из рук воротник пойманного, с маху ударил его по лицу.

— Дайте ему! — круто поворачивая коня, приказал Листницкий.

Трое или четверо спешенных казаков, валяя связанного человека, замахали плетьми. Лагутин — с седла долой, к Листницкому.

— Господин есаул!.. Што ж вы это?.. Господин есаул! — он ухватил колено есаула щупло дрожащими цепкими пальцами, кричал: — Нельзя так!.. Человек ить!.. Што вы делаете?

Листницкий трогал коня поводьями, молчал. Рванувшись к казакам, Лагутин обхватил Аржанова поперек, спотыкаясь, путаясь в шашке ногами, пытался его оттащить. Тот, сопротивляясь, бормотал:

— Ты не гори дюже! Не гори! Он будет каменьями шибаться, а ему молчи?!. Пусти!.. Пусти, тебе добром говорят!..

Один из казаков, изогнувшись, смахнул с себя винтовку — прикладом по мягко похрустывавшему телу поваленного человека. Спустя минуту низкий, животно-дикий крик пополз над мостовой.

— А-а-а-а-а-а-а!.. А-а-а-а-а-а-а!.. Ык... ык!.. Про-па-да-ю-у-у-у-у!..

А потом несколько секунд молчания — и тот же голос, но уже ломкий по-молодому, захлебывающийся, исшматованный болью, между выхрипами после ударов замыкался короткими выкриками:

— Сволочи!.. Контр... революционеры!.. Бейте! О-ох!.. А-а-а-а-а!..

«Гак! гак! гак!», — хряпали вперемежку удары.

Лагутин подбежал к Листницкому, плотно прижимаясь к его колену, царапая ногтями крыло седла, задохнулся.

— Смилуйся!

— Отойди!

— Есаул!.. Листницкий!.. Слышишь? Ответишь!

— Плевать я на тебя хотел! — засипел Листницкий и тронул коня на Лагутина.

— Братцы! — крикнул тот, подбежав к стоявшим в стороне казакам. — Я член полкового ревкома... Я вам приказываю: ослобоните человека от смерти!.. Ответ... ответ будете держать!.. Не старое время!..

Безрассудная слепящая ненависть густо обволокла Листницкого. Плетью коня меж ушей — и на Лагутина. Тыча в лицо ему вороненый, провонявший ружейным маслом ствол нагана, прорвался на визг:

— Замолчи-и-и, предатель! Большевик! За-стре-лю!

Величайшим усилием воли оторвал палец от револьверного спуска, вскинул коня на дыбы, ускакал.

Несколько минут спустя следом за ним тронулись три казака. Среди лошадей Аржанова и Лапина волочился, не переставляя ног, человек в мокрой, плотно прилипшей к телу рубахе. Поддерживаемый под руки казаками, он тихо покачивался, чертил ногами булыжник. Между высоко вздернутых острых плеч его болталась, свешиваясь назад, белея сторчмя поднятым подбородком, окровяненная, разбитая в мякоть голова. Поодаль двигался третий казак. На углу освещенного переулка он увидел извозчика, привстав на стременах, зарысил к нему. Что-то коротко сказав, выразительно пощелкал по голенищу сапога плетью, и извозчик с послушной торопливостью поехал к остановившимся среди улицы Аржанову и Лапину.

На другой день Листницкий проснулся с сознанием совершенной им вчера большой непоправимой ошибки. Покусывая губы, выдыхая изо рта спертый ночной запах, он вспомнил сцену избиения человека, бросившего в казаков камнем, и то, что после разыгралось между ним и Лагутиным. Поморщился. Раздумчиво покашлял. Одеваясь, думал, что Лагутина трогать пока не надо, во избежание обострения отношений с полковым комитетом, а лучше выждать время, когда в памяти казаков, бывших при этом, вытюжится вчерашняя стычка с Лагутиным, и тогда потихоньку убрать его с дороги.

«Что называется, сроднился с казаком...»,— горько иронизировал над собой Листницкий и все последующие дни находился под нехорошим впечатлением происшедшего.

Уже в первых числах августа, в погожий солнечный день, Листницкий пошел однажды с Атарщиковым по городу. Между ними, после разговора, происходившего в день собрания офицеров, не было ничего, чтобы могло бы разрешить создавшуюся тогда недоговоренность. Атарщиков был замкнут, вынашивал невысказанные размышления, на повторные попытки Листницкого вызвать его на откровенность наглухо запа-

хивал ту непроницаемую завесу, которую привычно носит большинство людей, отгораживая ею от чужих глаз подлинный свой облик. Листницкому всегда казалось, что, общаясь с людьми, люди хранят под внешним обликом еще какой-то иной, который порою так и остается неуясненным. Он твердо верил, что если с любого человека соскоблить вот этот верхний покров, то из-под него вышелушится подлинная, нагая неприкрашенная никакой ложью сердцевина. И поэтому ему всегда болезненно хотелось узнать, что кроется за грубой, суровой, бесстрашной, благополучной, веселой внешностью разных людей. В данном случае, думая об Атарщикове, он догадывался лишь об одном — что тот мучительно ищет выхода из создавшихся противоречий, увязывает национально-казачье с большевистским. Это предположение понудило его прекратить попытки к сближению с Атарщиковым, держаться отчужденней.

Они шли по Невскому, изредка перекидываясь незначительными фразами.

— Зайдем перекусить что-нибудь? — предложил Листницкий, указывая глазами на двери ресторана.

— Пожалуй, — согласился Атарщиков.

Они вошли и остановились, оглядываясь с некоторой беспомощностью: все столики были заняты. Атарщиков уже повернулся было уходить, но от столика у окна поднялся внимательно глядевший на них брюзглый, хорошо одетый господин, сидевший в обществе двух дам, подошел, вежливо приподнимая котелок.

— Прошу прощения! Не угодно ли занять наш столик? Мы уходим. — Он улыбался, обнажая редкий ряд обкуренных зубов, движением руки приглашая пройти. — Я рад услужить господам офицерам. Вы — наша гордость.

Дамы, сидевшие за столиком, встали. Одна, высокая и черная, поправляла прическу, другая, помоложе, ожидала ее, играя зонтиком.

Офицеры поблагодарили господина, любезно предоставившего им возможность воспользоваться столиком, прошли к окну. Сквозь опущенную штору желтыми иглами втыкались в скатерть истрощенные лучи. Запах кушаний глушил волнующе-тонкий аромат расставленных по столикам живых цветов.

Листницкий заказал ботвинью со льдом, в ожидании задумчиво ощипывал выдернутую из вазы желто-рдяную настурцию. Атарщиков вытирал платком потный лоб, устало опущенные глаза его, часто моргая, следили за солнечным зайчиком, трепетавшим на ножке соседнего столика. Они еще не кончили закусывать, когда в ресторан, шумно разговаривая, вошли два офицера. Передний, отыскивая глазами сво-

бодный столик, повернул к Листницкому покрытое ровным бурым загаром лицо, в косых черных глазах его сверкнула радость.

— Листницкий! Ты ли это?.. — направляясь к нему уверенно, без тени стеснения крикнул офицер.

Под черными усами его кипенно сверкнули зубы. Листницкий угадал есаула Калмыкова, следом за ним подошел Чубов. Они обменялись крепкими рукопожатиями. Познакомив бывших сослуживцев с Атарщиковым, Листницкий спросил:

— Какими судьбами сюда?

Калмыков, покручивая ус, кивнул головой назад, кося глазами по сторонам, сказал:

— Командированы. После расскажу. Ты о себе повествуй. Как живется в 14-м полку?

Вышли они вместе. Калмыков и Листницкий отстали, свернули в первый переулок и через полчаса, миновав шумную часть города, шли, вполголоса разговаривая, опасливо поглядывая вокруг.

— Наш 3-й корпус находится в резерве Румынского фронта, — оживленно рассказывал Калмыков. — Недели полторы назад получаю от командира полка предписание: сдав сотню, совместно с сотником Чубовым отправляться в распоряжение штаба дивизии. Чудесно. Сдаю. Приезжаем в штаб дивизии. Полковник М., из оперативного отделения, — ты его знаешь, — конфиденциально мне сообщает, что я немедленно должен выехать к генералу Крымову. Едем с Чубовым в корпус. Крымов принимает меня, а так как он знает, кого из офицеров к нему посылают, то прямо заявляет следующее: «У власти люди, сознательно ведущие страну к гибельному концу, — необходима смена правительственной верхушки, быть может, даже замена Временного правительства военной диктатурой». Назвал Корнилова, как вероятного кандидата, потом предложил мне отправиться в Петроград, в распоряжение Главного комитета офицерского союза. Теперь здесь сгруппировано несколько сот надежных офицеров. Ты понимаешь, в чем заключается наша роль? Главный комитет офицерского союза работает в контакте с нашим советом союза казачьих войск, на узловых станциях и в дивизиях организует ударные батальоны. Все это в недалеком будущем пригодится...

— Во что же выльется? Как ты думаешь?

— Вот тебе раз! Неужели, живя здесь, вы не уяснили обстановку? Несомненно, будет правительственный переворот, у власти станет Корнилов. Армия ведь за него горой. У нас там думают так: две равнозначащих — это Корнилов и большевики. Керенский между двумя жерновами, — не тот, так другой его сотрет. Пусть себе спит пока на постели Алисы. Он — калиф на час. — Калмыков помолчал и раздумчиво, играя

темляком шашки, сказал. — Мы, в сущности, — пешки на шахматном поле, а пешки ведь не знают, куда пошлет их рука игрока... Я, например, не представляю всего, что творится в ставке. Знаю, что между генералитетом — Корниловым, Лукомским, Романовским, Крымовым, Деникиным, Калединым, Эрдели и многими другими — есть какая-то таинственная связь, договоренность...

— Но армия... пойдет ли вся армия за Корниловым? — спросил Листницкий, все убыстряя шаги.

— Солдатня, конечно, не пойдет. Мы поведем ее.

— Ты, знаешь, что Керенский под давлением левых хочет сместить верховного?

— Не посмеет! Завтра же поставят его на колени. Главный комитет офицерского союза довольно категорически высказал ему свой взгляд на это.

— Вчера к нему от совета союза казачьих войск были делегированы представители, — улыбаясь, говорил Листницкий. — Они заявили, что казачество не допускает и мысли о смещении Корнилова. И ты знаешь, что он ответил: «Это — инсинуации. Ничего подобного Временное правительство и не думает предпринимать». Успокаивает общественность и в то же время, как б... улыбается исполкому совдепа.

Калмыков на ходу достал полевую офицерскую книжку, прочитал вслух:

— «Совещание общественных деятелей приветствует вас, верховного вождя русской армии. Совещание заявляет, что всякие покушения на подрыв вашего авторитета в армии и России считает преступным и присоединяет свой голос к голосу офицеров, георгиевских кавалеров и казаков. В грозный час тяжелого испытания вся мыслящая Россия смотрит на вас с надеждой и верой. Да поможет вам бог в вашем великом подвиге на воссоздание могучей армии и спасение России! Родзянко». Ясно, кажется? Не может быть и речи о смещении Корнилова... Да, кстати, ты видел вчера его приезд?

— Я только ночью приехал из Царского Села.

Калмыков улыбнулся, разом оголив ровный навес зубов и розовые здоровые десны. Узкие глаза его сморщились, излучив от углов несчетное множество паутинно-тонких морщин.

— Классически! Охрана — эскадрон текинцев. Пулеметы на автомобилях. Все это к Зимнему дворцу. Довольно недвусмысленное предупреждение... кха-кха-кха! Видел бы ты эти рожи в косматых папахах. О, на них стоит посмотреть! Своеобразное производят впечатление.

Поколесив по Московско-Нарвскому району, офицеры расстались.

— Нам, Женя, надо не терять друг друга из виду, — говорил на прощанье Калмыков. — Лихое наступает время. Держись за землю, а то упадешь!

Вслед уходившему Листницкому крикнул он, став в полоборота:

— Забыл тебе сказать. Меркулова нашего помнишь? Художника-то?

— Ну?

— Убили в мае.

— Не может быть!

— Да ведь как убили, — нечаянно. Глупее смерти и быть не может. В руках у разведчика разорвалась граната, самому ему по локти оторвало руки, а от Меркулова нашли мы лишь часть внутренностей да раздробленный цейс. Три года щадила смерть...

Калмыков еще что-то кричал, но поднявшийся ветер взвихрил серую пыль, нес лишь безголосые концы слов. Листницкий махнул рукой, пошел, изредка оглядываясь.

XIII

6 августа начальник штаба верховного главнокомандующего, генерал Лукомский, через первого генерал-квартирмейстера ставки, генерала Романовского, получил распоряжение о сосредоточении в районе Невель — Н.-Сокольники — Великие Луки 3-го конного корпуса с Туземной дивизией.

— Почему в данном районе? Ведь части эти в резерве Румынского фронта? — спросил озадаченный Лукомский.

— Не знаю, Александр Сергеевич. Передаю вам точно приказание верховного.

— Когда вы его получили?

— Вчера. В одиннадцать часов ночи верховный вызвал меня и приказал доложить вам об этом сегодня утром.

Романовский, ступая на носки, походил над окном и, остановившись у стратегической карты Средней Европы, занявшей полстены в кабинете Лукомского, сказал, стоя спиной к нему, с преувеличенным вниманием разглядывая карту:

— Вы об'яснитесь... Он сейчас у себя.

Лукомский взял со стола бумаги, отодвинув кресло, пошел той подчеркнуто твердой походкой, которой ходят все полнеющие пожилые военные. В дверях, пропуская вперед себя Романовского, сказал, очевидно, следя за ходом собственных мыслей:

— Правильно. Да.

От Корнилова только что вышел незнакомый Лукомскому высокий голенастый полковник. Он почтительно уступил дорогу, пошел по коридору, заметно прихрамывая, смешно и страшно дергая контуженным плечом.

Корнилов, чуть наклонившись вперед, опираясь о стол косо поставленными ладонями, говорил стоявшему против него пожилому офицеру:

— ...надо было ожидать. Вы меня поняли? Прошу известить немедленно по прибытии в Псков. Можете итти.

Выждав, пока за офицером закрылась дверь, Корнилов молодым, упругим движением опустился на кресло, подвигая Лукомскому второе, спросил:

— Вы получили от Романовского мое распоряжение о переброске 3-го корпуса?

— Да. Я пришел поговорить по этому поводу. Почему вами избран указанный район сосредоточения для корпуса?

Лукомский внимательно смотрел на смуглое лицо Корнилова. Оно было непроницаемо, азиатски бесстрастно; по щекам, от носа к черствому рту, закрытому негустыми вислыми усами, привычно-знакомые, кривые ниспадали морщины. Жесткое, строгое выражение лица нарушала лишь косичка волос, как-то по-ребячески трогательно спускавшаяся на лоб.

Облокотившись, придерживая маленькой, сухой ладонью подбородок, Корнилов сощурил монгольские с ярким блеском глаза, ответил, касаясь рукой колена Лукомского:

— Я хочу сосредоточить конницу не специально за Северным фронтом, а в таком районе, откуда в случае надобности легко было бы ее перебросить на Северный или Западный фронты. По-моему, выбранный район наиболее удовлетворяет этому требованию. Вы мыслите иначе? Что?

Лукомский неопределенно пожал плечами.

— Опасаться за Западный фронт нет никаких оснований. Лучше сосредоточить конницу в районе Пскова.

— Пскова? — переспросил Корнилов, всем корпусом наклоняясь вперед, и, поморщась, чуть ощерив тонкую выцветшую губу, отрицательно качнул головой.

— Нет! Район Пскова неудобен.

Усталым, старческим движением Лукомский положил на ручки кресла ладони, осторожно выбирая слова, сказал:

— Лавр Георгиевич, я сейчас же отдам необходимые распоряжения, но у меня создалось впечатление, что вы что-то не договариваете... Выбранный вами район для сосредоточения конницы очень хорош на

случай, если б ее надо было бросить на Петроград или Москву, но Северный фронт подобное размещение конницы не обеспечивает уже по одному тому, что ее трудно будет перебрасывать. Если я не ошибаюсь, и вы действительно что-то не договариваете, то прошу — или отпустите меня на фронт, или полностью скажите мне ваши предположения. Начальник штаба может оставаться на своем месте лишь при полном доверии со стороны начальника.

Корнилов, склонив голову, напряженно вслушивался, и все же простым человеческим глазом успел заметить, как холодное с виду лицо Лукомского волнение испятнило еле видным, скупым румянцем. Подумав несколько секунд, он ответил:

— Вы правы. У меня есть некоторые соображения, относительно которых я с вами еще не говорил... Прошу отдать распоряжение о перемещении конницы и срочно вызовите сюда командира 3-го корпуса генерала Крымова, а мы с вами подробно переговорим после возвращения из Петрограда. От вас, Александр Сергеевич, поверьте, я ничего не хочу скрывать, — подчеркнул Корнилов последнюю фразу и с живостью повернулся на стук в дверь. — Войдите!

Вошли помощник комиссара при ставке фон-Визин, с ним низкорослый белесый генерал. Лукомский поднялся, уходя слышал, как на вопрос фон-Визина, Корнилов резко сказал:

— Сейчас у меня нет времени пересматривать дело генерала Маллера. Что?.. Да, я уезжаю.

Вернувшись от Корнилова, Лукомский долго стоял у окна. Поглаживая седеющий клин бородки, задумчиво глядел, как в саду ветер зализывает густые вихры каштанов и волною гонит просвечивающую на солнце горбатую траву.

Через час штаб 3-го конного корпуса получил приказание от наштаверха изготовиться к перемещению. В этот же день шифрованной телеграммой командир корпуса, генерал Крымов, в свое время, по желанию Корнилова, отказавшийся от назначения на должность командующего 11-й армией, срочно вызывался в ставку.

9 августа Корнилов, под охраной эскадрона текинцев, специальным поездом выехал в Петроград.

На другой день в ставке передавались слухи о смещении и даже аресте верховного, но 11-го утром, Корнилов вернулся в Могилев.

Сейчас же по приезде он пригласил к себе Лукомского. Перечитав телеграммы и сводки, он заботливо поправил безукоризненно белую манжету, сочно оттенявшую оливковую узкую кисть руки, коснулся воротника. В этих торопливо скользящих движениях сказывалось необычайное для него волнение.

— Сейчас мы можем докончить прерванный тогда разговор, — сказал он негромко. — Я хочу вернуться к тем соображениям, которые понудили меня передвигать 3-й корпус к Петрограду и относительно которых я с вами еще не говорил. Вы знаете, что 3 августа, когда я был в Петрограде на заседании правительства, Керенский и Савинков предупредили меня, чтобы я не касался особо важных вопросов обороны, так как, по их словам, среди министров есть люди ненадежные. Я, верховный главнокомандующий, отчитываясь перед правительством, не могу говорить об оперативных планах, ибо нет гарантий, что сказанное не будет через несколько дней известно германскому командованию! И это — правительство? Да разве я могу после этого верить, что оно спасет страну? — Корнилов быстрыми твердыми шагами дошел до двери, запер ее на ключ и, вернувшись, взволнованно, расхаживая перед столом, сказал: — Горько и обидно, что какие-то слизняки правят страной. Безволие, слабохарактерность, неумение, нерешительность, зачастую простая подлость — вот что руководит действиями этого, с позволения сказать, «правительства». При благосклонном участии таких господ, как Чернов и другие, большевики сметут Керенского... Вот, Александр Сергеевич, в каком положении находится Россия. Руководствуясь известными вам принципами, я хочу оградить родину от новых потрясений. 3-й конный корпус я передвигаю, главным образом, для того, чтобы к концу августа стянуть его к Петрограду, и если большевики выступят, то расправиться с предателями родины как следует. Непосредственное руководство операцией передаю генералу Крымову. Я убежден, что в случае необходимости, он не задумается перевешать весь совет рабочих и солдатских депутатов. Временное правительство... Ну, да, мы еще посмотрим... Я ничего не ищу. Спасти Россию... спасти во что бы то ни стало, любой ценой!..

Корнилов оборвал шаги, остановившись против Лукомского, резко спросил:

— Разделяете вы мое убеждение, что только подобным мероприятием можно обеспечить будущее страны и армии? Пойдете ли вы со мной до конца?

Крепко, растроганно пожимая сухую, горячую руку Корнилова, Лукомский привстал:

— Вполне разделяю ваш взгляд! Пойду до конца. Надо обдумать, взвесить — и ударить. Поручите мне, Лавр Георгиевич.

— План разработан мною. Детали разработают полковник Лебедев и капитан Роженко. Ведь вы, Александр Сергеевич, завалены работой. Доверьтесь мне, у нас еще будет время обсудить все и, если явится необходимость, внести соответствующие изменения.

Эти дни ставка жила лихорадочной жизнью. Ежедневно в губернаторский дом в Могилеве с предложением услуг являлись с фронтов из различных частей, в пропыленных защитных гимнастерках, загорелые и обветревшие офицеры, приезжали щеголеватые представители офицерского комитета и казачьего совета, шли гонцы с Дона от Каледина — первого из казаков войскового наказного атамана области Войска Донского; наезжали какие-то штатские. Шли люди, искренне хотевшие помочь Корнилову поднять на ноги упавшую в феврале старую Россию, но были и стервятники, дальним нюхом чуявшие запах большой крови, предугадывавшие, чья твердая рука вскроет стране вены, слетавшиеся в Могилев с надеждой, что и им придется кое-что урвать. Имена Добрынского, Завойко, Аладьина повторялись в ставке, как имена людей, имеющих близкое отношение к верховному. В ставке и штабе Походного атамана Донского Войска вполголоса передавалось, что Корнилов чересчур доверчив, вследствие чего попал в авантюрное окружение. Но в то же время в широких кругах офицерства господствовало убеждение, что Корнилов — знамя восстановления России. И под это знамя стекались отовсюду страстно желавшие реставрации.

13 августа Корнилов выехал в Москву на государственное совещание.

Теплый, чуть облачный день. Небо словно отлито из голубоватого алюминия. В зените поярчатая, в сиреневой опушке туча. Из тучи на поля, на стекочущий по рельсам поезд, на сказочно опереннный заморозками лес, на далекие акварельно-чистого рисунка контуры берез, на всю одетую вдовьим цветом предосеннюю землю — косой, преломленный в отсветах радуги благодатный дождь.

Поезд мечет назад пространство. За поездом рудым шлейфом дым. У открытого окна вагона маленький в защитном мундире с георгиями генерал. Сузив косые углисто-черные глаза, он высовывает в окно голову, и парные капли дождя щедро мочат его покрытое давнишним загаром лицо и черные вислые усы; ветер шевелит, зачесывает назад по-ребячески спадающую на лоб прядку волос.

XIV

За день до приезда Корнилова в Москву есаул Листницкий прибыл туда с поручением особой важности от совета союза казачьих войск. Передав в штаб находившегося в Москве казачьего полка пакет, он узнал, что назавтра ожидается Корнилов.

В полдень Листницкий был на Александровском вокзале. В зале ожидания и буфетах первого и второго классов — крутое месиво народа; военные преобладают. На перроне строится почетный караул от

Александровского военного училища, у виадука московский женский батальон смерти. Около трех часов пополудни — поезд. Разом стихший разговор. Зычный, взвихрившийся всплеск оркестра и шаркающий топот множества ног. Взбурлившаяся толпа подхватила, понесла, кинула Листницкого на перрон. Выбравшись из свалки, он увидел: у вагона главнокомандующего строятся в две шеренги текинцы. Блещущая лаком стена вагона рябит, отражая их ярко-красные халаты. Корнилов, вышедший в сопровождении нескольких военных, начал обход почетного караула, депутаций от союза георгиевских кавалеров, союза офицеров армии и флота, совета союза казачьих войск.

Из числа лиц, представлявшихся верховному, Листницкий узнал донского атамана Каледина и генерала Зайончковского, остальных называли по именам окружавшие его офицеры:

— Кисляков, — товарищ министра путей сообщения.

— Городской голова Руднев.

— Князь Трубецкой — начальник дипломатической канцелярии в ставке.

— Член Государственного совета Мусин-Пушкин.

— Французский военный атташе полковник Кайо.

— Князь Голицын.

— Князь Мансырев... — звучали подобострастно почтительные голоса.

Листницкий видел, как приближавшегося к нему Корнилова осыпали цветами изысканно одетые дамы, густо стоявшие вдоль платформы Один розовый цветок повис, зацепившись венчиком за аксельбанты на мундире Корнилова. Он стряхнул его чуть смущенным, нерешительным движением. Бородатый старик-уралец, заикаясь, начал приветственное слово от имени двенадцати казачьих войск. Дослушать Листницкому не удалось, — его оттеснили к стене, едва не порвали ремень шашки. После речи члена Государственной думы Родичева Корнилов вновь тронулся, густо облепленный толпой. Офицеры, взявшись за руки, образовали предохранительную цепь, но их разметали. К Корнилову тянулись десятки рук. Какая-то полная, растрепанная дама семенила сбоку его, стараясь прижаться губами к рукаву светло-зеленого мундира. У выхода под оглушительный грохот приветственных криков Корнилова подняли на руки, понесли. Сильным движением плеча Листницкий оттер в сторону какого-то сановитого господина, успел схватиться за мелькнувший перед его глазами лакированный сапог Корнилова. Ловко перехватив ногу, он положил ее на плечо и, не чувствуя ее невесомой тяжести, задыхаясь от волнения, стараясь только сохранить равновесие и ритм шага, двинулся, медленно влекомый толпой, оглушенный ревом и пролитой медью оркестра. У выхода наскоро оправил складки рубашки,

в давке выбившейся из-под пояса. По ступенькам — на площадь. Впереди толпа, зеленые шпалеры войск, казачья сотня в конном строю. Приложив ладонь к козырьку фуражки, моргая увлажненными глазами, он пытался, но не мог унять неудержную дрожь губ. Смутно помнил, как клацали фотографические аппараты, бесновалась толпа, шли церемониальным маршем юнкера и стоял, пропуская их перед собой, стройный, вытянутый, маленький, с лицом монгола генерал.

Спустя день Листницкий выехал в Петроград. Устроившись на верхней полке, он расстелил шинель, курил, думая о Корнилове:

«С риском для жизни бежал из плена, словно зная, что будет так необходим родине. Какое лицо! Как высеченное из самородного камня — ничего лишнего, обыденного... Такой же и характер. Для него, наверное, все ясно, рассчитано. Наступит удобный момент — и поведет нас. Странно, я даже не знаю, кто он — монархист? Конституционная монархия... Вот если б каждый был так уверен в себе, как он».

Примерно, в этот же час в Москве, в кулуарах Большого театра, во время перерыва в заседании членов Московского государственного совещания, два генерала — один щуплый, с лицом монгола, другой плотный, с крепким посадом квадратной стриженной ежиком головы, с залысинами на гладко причесанных чуть седеющих висках и плотно прижатыми хрящами ушей, — уединившись, расхаживали по короткому отрезку паркета, вполголоса разговаривали.

— Этот пункт декларации предусматривает упразднение комитетов в воинских частях?

— Да.

— Единый фронт, сплоченность безусловно необходимы. Без проведения в жизнь указанных мною мероприятий нет спасения. Армия органически неспособна драться. Такая армия не только победы не даст, но и не сумеет выдержать сколько-нибудь значительного натиска. Части растлены большевистской пропагандой. А здесь, в тылу? Вы видите, как рабочие реагируют на всякую попытку найти меры к их обузданию? — забастовки и демонстрации. Члены совещания должны итти пешком... Позор! Милитаризация тыла, установление суровой, карающей руки, беспощадное истребление всех большевиков, этих носителей маразма — вот ближайшие наши задачи. Могу я заручиться и в дальнейшем вашей поддержкой, Алексей Максимович?

— Я безоговорочно с вами.

— Я был уверен в этом. Благодарю. Вы видите, когда нужно действовать решительно и твердо, правительство ограничивается полумерами и звонкими фразами — что-де «железом и кровью подавим попытки тех, кто, как в недавние дни, посягнет на народную власть». Нет,

мы привыкли сначала делать, а потом говорить. Они поступают наоборот. Что же... будет время — пожнут плоды своей политики полумер. Но я не желаю участвовать в этой бесчестной игре! Я был и остаюсь сторонником открытого боя, — блудословие не в моем характере.

Маленький генерал, остановившись против собеседника, покрутил металлическую пуговицу на его темнозащитном френче, сказал, слегка заикаясь от волнения:

— Сняли намордник, а теперь сами трусят своей революционной демократии, просят двинуть с фронта к столице надежные воинские части и в то же время, в угоду этой демократии, боятся предпринимать что-либо реальное. Шаг вперед, шаг назад... Только при полной консолидации наших сил, сильнейшим моральным прессом мы сможем выжать из правительства уступки, а нет, — тогда посмотрим! Я не задумаюсь обнажить фронт, — пусть их вразумляют немцы!

— Мы говорили с Дутовым. Казачество окажет вам, Лавр Георгиевич, всемерную поддержку. Нам остается согласовать вопрос о совместных действиях в дальнейшем.

— После заседания я жду вас и остальных у себя. Настроение на Дону у вас?

Плотный генерал, прижимая к груди четырехугольный выбритый до глянца подбородок, угрюмым, исподлобным взглядом глядел перед собой. Под его широкими усами дрогнули углы губ, когда он отвечал:

— Нет у меня прежней веры в казака... И сейчас вообще трудно судить о настроениях. Необходим компромисс: казачеству надо кое-чем поступиться для того, чтобы удержать за собой иногородных. Некоторые мероприятия в этом направлении мы предпринимаем, но за успех поручиться нельзя. Боюсь, что на стыке интересов казачества и иногородных и может произойти разрыв... земля... вокруг этой оси вертятся сейчас мысли и тех и других.

— Вам надо иметь под рукой надежные казачьи части, чтобы обеспечить себя от всяких случайностей изнутри. По возвращении в ставку я поговорю с Лукомским, и мы, наверное, изыщем возможность отправить с фронта на Дон несколько полков.

— Буду вам очень признателен.

— Итак, сегодня мы согласуем вопрос о наших совместных действиях в будущем. Я горячо верю в благополучное завершение задуманного, но счастье вероломно, генерал... Если оно, вопреки всему, станет ко мне спиной, — могу я рассчитывать, что на Дону у вас я найду приют?

— Не только приют, но и защиту. Казаки ведь исстари славятся гостеприимством и хлебосольством.

В первый раз за все время разговора улыбнулся Каледин, смягчив хмурую усталь исподлобного взгляда.

Час спустя Каледин, донской атаман, выступал перед затихшей аудиторией с исторической декларацией двенадцати казачьих войск.

По Дону, по Кубани, по Тереку, по Уралу, по Яику, по Уссури, по казачьим землям от грани до грани, от станичного юрта до другого, черной паутиной раскинулись, расплелись с того дня нити большого заговора.

XV

В версте от развалин местечка, стертого орудийным огнем июньских боев, возле леса причудливо вилюжились зигзаги окопов. Участок у самой опушки занимала казачья Особая сотня.

Сзади, за зеленой непролазью ольшанника и березового молодняка, ржавело торфяное болото, когда-то еще до войны тронутое разработками; весело, красной ягодой цвел шиповник. Правее, за выпятившимся лесным мысом, тянулось разбитое снарядами шоссе, напоминая о неисхоженных еще путях, а у опушки рос чахлый, ощелканный пулями бурьянок, сугорбились обугленные пни, желтел бурой глиной бруствер, далеко в стороны по голому полю отходили морщины окопов. Сзади даже болото, изрытвленное рябью разработок, даже разрушенное шоссе пахли жизнью, кинутым трудом, у опушки же безрадостную и горькую картину являла человеческому глазу земля.

В этот день Иван Алексеевич, в прошлом машинист моховской вальцовки, уходил в близлежащее местечко, где стоял обоз первого разряда, и вернулся только перед вечером. Пробираясь к себе в землянку, он столкнулся с Захаром Королевым. Цепляясь шашкой за уступы мешков, набитых землей, бестолково махая руками, Захар почти бежал. Иван Алексеевич посторонился, уступая дорогу, но Захар схватил его за пуговицу гимнастерки, зашептал, ворочая нездорово-желтыми белками глаз.

— Слыхал? Пехота справа уходит! Может, фронт бросают?

Застывшая недвижным потоком, словно выплавленная из черного чугуна борода Захара была в чудовищном беспорядке, глаза глядели с голодной тоскливой жадностью.

— Как, то-есть, бросают?

— Уходют, а как — я не знаю.

— Может, их сменяют? Пойдем к взводному, узнаем.

Захар повернулся и пошел к землянке взводного, скользя ногами по ослизлой, влажной земле.

Через час сотня, смененная пехотой, шла к местечку. Наутро разобрали у коноводов лошадей, форсированным маршем двинулись в тыл.

Мелкий накрапывал дождь. Понурые горбились березы. Дорога вклинилась в лес, и лошади, почуяв сырость и вянущий, острый и тоскливый запах прошлогодней листвы, зафыркали, пошли веселей. Розовыми бусами мокрела на кустах волчья ягода, омытые дождем, пенистые шапки девичьей кашки неотразимо сияли белизной. Ядрено-тяжеловесные капли отряхал ветер с деревьев на всадников. Шинели и фуражки их чернели пятнышками, будто иссеченные дробью. Тающий дымок махорки плыл над взводными рядами.

— Захватили-и — и прут чорт-те куда.

— Аль не обрыдло в окопах?

— А в самом деле, куда нас гонют?

— Переформировка какая-нибудь.

— Што-то непохоже.

— Эх, станица, покурим — все горе забудем!

— Я свое горе в саквах вожу...

— Господин есаул, дозвольте песню заиграть?

— Дозволил, што ль?.. Заводи, Архип!

Кто-то в передних рядах, откашлявшись, завел:

Ехали казáченьки да со службы домой.
На плечах погоники, на грудях кресты.

Отсыревшие голоса вяло потянули песню и замолкли. Захар Королев, ехавший в одном ряду с Иваном Алексеевичем, приподнялся на стременах, закричал насмешливо:

— Ей, вы — старцы слепые! Рази же так по-нашему играют? Вам под церквой с кружкой побираться, «Лазаря» играть. Песельники... — и про себя: «...растуды вашу мать!»

— А, ну, заведи?

— Шея у него короткая, — голосу негде помещаться.

— Нахвалился, а теперя хвост на сторону?

Королев зажал в кулаке черный слиток завшивевшей бороды, на минуту закрыл глаза и отчаянно, махнув поводьями, кинул первые слова:

Ой, да возвеселитесь, храбрые донцы-казаки,

Сотня, словно разбуженная его напевным вскриком, рявкнула:

Честь и славою своей! —

и понесла над мокрым лесом, над просекой-дорогой:

Ой, да покажите всем друзьям пример,
Как мы из ружей бьем своих врагов!

Бьем, не портим боевой порядок,
Только слушаем один да приказ.
И что нам прикажут отцы-командиры,
Мы туда идем—рубим, колем, бьем!

Весь переход шли с песнями, радуясь, что вырвались из «волчьего кладбища». К вечеру погрузились в вагоны. Эшелон потянулся к Пскову. И только через три перегона узнали, что сотня, совместно с другими частями 3-го конного корпуса, направляется на Петроград для подавления начинающихся беспорядков. После этого разговоры приутихли. Долго баюкалась в красных вагонах дремотная тишина.

— Из огня да в полымю! — высказал долговязый Борщев общую для большинства мысль.

Иван Алексеевич — с февраля бессменный председатель сотенного комитета — на первой же остановке пошел к командиру сотни.

— Казаки волнуются, господин есаул.

Есаул долго глядел на глубокую ямку на подбородке Ивана Алексеевича, сказал, улыбаясь:

— Я сам, милый мой, волнуюсь.

— Куда нас отправляют?

— В Петроград.

— Усмирять?

— А ты думал — способствовать беспорядкам?

— Мы ни тово, ни другова не хотим.

— А нас, в аккурат, и не спрашивают.

— Казаки...

— Что «казаки»?— уже озлобленно перебил его командир сотни.— Я сам знаю, что казаки думают. Мне-то приятна эта миссия? Возьми вот, прочитай в сотне. На следующей станции я побеседую с казаками.

Командир подал свернутую телеграмму и, морщась, с видимым отвращением стал жевать покрытые крупками жира куски мясных консервов.

Иван Алексеевич вернулся в свой вагон. В руке, словно горящую головню, нес телеграмму.

— Созовите казаков из других вагонов.

Поезд уже тронулся, а в вагон все прыгали казаки. Набралось человек тридцать.

— Телеграмму командир получил. Зараз читаю.

— Ну-ка-сь, што там написано? Давай!

— Читай, не бреши!

— Замиренье?

— Цыцьте!

В застойной тишине Иван Алексеевич вслух прочитал воззвание верховного главнокомандующего Корнилова. Потом листок с перевранными телеграфом словами пошел по потным рукам.

«Я, верховный главнокомандующий Корнилов, перед лицом всего народа об'являю, что долг солдата, самоотверженность гражданина свободной России и беззаветная любовь к родине заставили меня в эти тяжелые минуты бытия отечества не подчиниться приказанию Временного правительства и оставить за собой верховное командование армией и флотом. Поддерживаемый в этом решении всеми главнокомандующими фронтами, я заявляю всему русскому народу, что предпочитаю смерть устранению меня от должности верховного главнокомандующего. Истинный сын народа русского всегда погибает на своем посту и несет в жертву родине самое большое, что имеет, — свою жизнь.

В эти поистине ужасные минуты существования отечества, когда подступы к обеим столицам почти открыты для победоносного движения торжествующего врага, Временное правительство, забыв великий вопрос самого независимого существования страны, кидает в народ призрачный страх контр-революции, которую оно само своим неуменьем к управлению, своей слабостью во власти, своей нерешительностью в действиях вызывает к скорейшему воплощению.

Не мне, кровному сыну своего народа, всю жизнь свою на глазах всех отдавшему на беззаветное служение ему, — не стоять на-страже великих свобод великого будущего своего народа. Но ныне будущее это — в слабых безвольных руках. Надменный враг, посредством подкупа и предательства, распоряжается у нас, как у себя дома, несет гибель не только свободе, но и существованию народа русского. Очнитесь, люди русские, и вглядитесь в бездонную пропасть, куда стремительно идет наша родина!

Избегая всяких потрясений, предупреждая какое-либо пролитие русской крови, междуусобной брани и забывая все обиды и оскорбления, я перед лицом всего народа обращаюсь к Временному правительству и говорю: приезжайте ко мне в ставку, где свобода ваша и безопасность обеспечены моим честным словом и совместно со мной выработайте и образуйте такой состав народной обороны, который, обеспечивая свободу, вел бы народ русский к великому будущему, достойному могучего свободного народа. Генерал Корнилов».

На следующей станции эшелон задержали. Ожидая отправки, казаки собрались возле вагонов, обсуждая телеграмму Корнилова и только что прочитанную командиром сотни телеграмму Керенского, об'являв-

шего Корнилова изменником и контр-революционером. Казаки растерянно переговаривались. Командир сотни и взводные офицеры были в замешательстве.

— Все перепуталось в голове, — жалился Мартин Шамиль. — Чума их разберет, кто из них виноватый!

— Сами мордуются и войска мордуют.

— Начальство с жиру бесится.

— Каждый старшим хочет быть.

— Паны дерутся, у казаков чубы трясутся.

— Идет все коловертью... Беда!

Группа казаков подошла к Ивану Алексеевичу, потребовала:

— Иди к командиру, узнавай, что делать.

Толпой пошли к сотенному. Офицеры, собравшись в своем вагоне, о чем-то совещались. Иван Алексеевич вошел в вагон.

— Господин командир, казаки допытываются, што теперь делать?

— Я сейчас выйду.

Сотня ждала, собравшись у крайнего вагона. Командир смешался с толпой казаков, пробравшись на средину, поднял руку.

— Мы подчиняемся не Керенскому, а верховному главнокомандующему и своему непосредственному начальству. Правильно? Поэтому мы должны беспрекословно исполнять приказ своего начальства и ехать к Петрограду. В крайнем случае мы можем, доехав до станции Дно, выяснить положение у командира 1-й донской дивизии, — там видно будет. Я прошу казаков не волноваться. Такое уж время мы переживаем.

Сотенный еще долго говорил о воинском долге, родине, революции, успокаивал казаков, уклончиво отвечал на вопросы. Своей цели он достиг: к составу тем временем прицепили паровоз (казаки не знали, что два офицера их сотни добились ускоренной отправки, угрожая оружием начальнику станции), и казаки разошлись по вагонам.

Сутки тащился эшелон, приближаясь к станции Дно. Ночью его вновь задержали, пропуская эшелоны уссурийцев и Дагестанского полка. Казачий состав перевели на запасный путь. Мимо, в опаловой ночной темноте, поблескивая огнями, пробегали вагоны Дагестанского полка. Слышался удаляющийся гортанный говор, стон зурны, чуждые мелодии песен.

Уже в полночь отправили сотню. Малосильный паровоз долго стоял у водокачки, от топки падал на землю искрящийся свет огней. Машинист, попыхивая цыгаркой, поглядывал в окошко, словно чего-то ожидал. Один из казаков ближнего к паровозу вагона высунулся в дверь, крикнул:

— Эй, Гаврила, крути, а то зараз стрелять будем!

Машинист выплюнул цыгарку, помолчал, видимо, следя за дугообразным ее полетом, сказал, покашливая:

— Всех не перестреляете, — и отошел от окна.

Спустя несколько минут паровоз рванул вагоны, лязгнули буфера, зацокотали копыта лошадей, потерявших от толчка равновесие. Состав поплыл мимо водокачки, мимо редких квадратиков освещенных окон и темных за полотном березовых куп. Казаки, задав лошадям корм, спали, редко кто бодрствовал, покуривая у полуоткрытых дверей, глядя на величавое небо, думая о своем.

Иван Алексеевич лежал рядом с Королевым, глядел в дверную щель на текучую звездную россыпь. За минувший день, обдумав все, твердо решил он всячески противодействовать дальнейшему продвижению сотни на Петроград; лежа, размышлял, каким образом склонить казаков к своему решению, как на них подействовать.

Обрабатывая его, думал в свое время Штокман, Осип Давыдович: «Слезет с тебя, Иван свет-Алексеевич, вот это дрянное, национальное гнильцо, обшелушится — и будешь ты, — непременно будешь! — кусочком добротной человеческой стали, крупинкой в общем массиве нашей партии. А гнильцо обгорит, слезет. При выплавке неизбежно выгорает все ненужное». Думал так — и не ошибся: выварился Иван Алексеевич в собственных думках, змеиным выползнем слезло с него то, что называл Штокман «гнильцом», и хотя и был он где-то вне партии, снаружи ее, но после ареста Штокмана буйно, молодым побегом потянулся и к партии, и к работе, с болью пережил тогда свое одиночество. Большевик из него вышел надежный, прожженый, с прочной к старому ненавистью. В закоснелой среде казачества тяжко было одному без товарищеской опоры, больно чувствовалась своя политическая полуграмотность, поэтому и шел в жизни ощупью, звериной тропой, классовым чутьем определяя и выравнивая свой шаг. За годы войны сложилось у него привычка, натыкаясь на какое-либо препятствие, думать: «а как поступил бы в этом случае Осип Давыдович?» — и, вспоминая все, что связано было со Штокманом, делал так, как, казалось, сделал бы тот на его месте Так было летом этого года, когда споткнулся на мыслях об Учредительном собрании. Вначале потянулся-было, теплясь радостью: «вот оно, то самое, чего ждали», но присмотрелся, вспомнил слова Осипа Давыдовича: «никогда нельзя верить тем прохвостам, которые на словах ратуют за народ, а на деле служат буржуазии, прихвостничают, ослабляют своей двурушнической политикой боевой революционный под'ем масс». Вспомнил и, уже не колеблясь, повернул в сторону, с восторгом нашел укрепы своему решению в «Окопной правде».

И в этом случае: еще до воззвания Корнилова ясно сознавал, что казакам с ним не одну стежку топтать, чутье подсказывало, что и Ке-

ренского защищать не с руки; поворочал мозгами, решил: не допустить сотню до Петрограда, а если и придется с кем цокнуться, так с Корниловым, но не за Керенского, не за его власть, а за ту, которая станет после него. Что после Керенского будет желанная, подлинно своя власть, — в этом он был больше, чем уверен. Еще летом пришлось ему побывать в Петрограде, в военной секции исполкома, куда посылала его сотня за советом по поводу возникшего с командиром сотни конфликта; поглядев на работу исполкома, переговорив с несколькими товарищами большевиками, подумал: «Обрастет этот костяк нашим рабочим мясом, — вот это будет власть! Умри, Иван, а держись за нее, держись, как дите за материну сиську!»

В эту ночь, лежа на попоне, чаще, чем обычно, вспоминал с большой, неизведанной доселе горячей любовью человека, под руководством которого прощупал жесткую свою путину. Думая о том, что должен был назавтра говорить казакам, вспомнил и слова Штокмана о казаках, их он повторял часто, будто гвоздь по самую шляпку вбивал: «Казачество консервативно по своему существу. Когда ты будешь убеждать казака в правоте большевистских идей, — не забывай это обстоятельство, действуй осторожно, вдумчиво, умей приспособляться к обстановке. Вначале к тебе будут относиться с таким же предубеждением, с каким и ты и Мишка Кошевой относились вначале ко мне, но пусть это тебя не смущает. Долби упорно, — конечный успех за нами».

Иван Алексеевич рассчитывал, что, убеждая казаков не итти с Корниловым, он встретит со стороны некоторых возражения, но утром, когда в своем вагоне осторожно заговорил о том, что надо потребовать возвращения на фронт, а не итти на Петроград драться со своими же, казаки охотно согласились и с большой готовностью решили отказаться от дальнейшего следования на Петроград. Захар Королев и казак Чернышевской станицы Турилин были ближайшими сообщниками Ивана Алексеевича. Весь день они, перебираясь из вагона в вагон, говорили с казаками, а к вечеру на каком-то полустанке, когда поезд замедлил ход, в вагон, где был Иван Алексеевич, вскочил урядник третьего взвода Пшеничников.

— На первой же станции сотня сгружается! — взволнованно крикнул он, обращаясь к Ивану Алексеевичу. — Какой ты председатель комитета, ежли не знаешь, што казаки хотят? Будет из нас дурачка валять! Не поедем дальше!.. Офицерья на нас удавку вешают, а ты ни в дудочку, ни в сопелочку. Для этова мы тебя выбирали? Ну, чево скалишься-то?

— Давно бы так, — улыбаясь, проговорил Иван Алексеевич.

На остановке он первый выскочил из вагона. В сопровождении Турилина прошел к начальнику станции.

— Поезд наш дальше не отправляй. Сгружаться тут зачнем.

— Как это так? — растерянно спросил начальник станции. — У меня распоряжение... путевка...

— Замкнись! — сурово перебил его Турилин.

Они разыскали станционный комитет, председателю, плотному рыжеватому телеграфисту, об'яснили в чем дело, и через несколько минут машинист охотно повел состав в тупик.

Спешно подмостив сходни, казаки начали выводить из вагонов лошадей. Иван Алексеевич стоял у паровоза, расставив длинные ноги, вытирая пот с улыбающегося смуглого лица. К нему подбежал бледный командир сотни.

— Что ты делаешь?.. Ты знаешь, что...

— Знаю! — оборвал его Иван Алексеевич. — А ты, господин есаул, не шуми. — И бледнея, двигая ноздрями, четко сказал: — Отшумелся, парень! Теперь мы на тебя с прибором кладем. Так-то!

— Верховный Корнилов... — побагровев, заикнулся-было есаул, но Иван Алексеевич, глядя на свои растоптанные сапоги, глубоко ушедшие в рыхлый песок, облегченно махнул рукой, посоветовал:

— Повесь ево на шею замест креста, а нам он без надобности.

Есаул повернулся на каблуках, побежал к своему вагону.

Час спустя сотня без единого офицера, но в полном боевом порядке выступила со станции, направляясь на юго-запад. В головном взводе рядом с пулеметчиками ехали принявший командование сотней Иван Алексеевич и помощник его, низенький, лопоухий Турилин.

С трудом ориентируясь по отобранной у бывшего командира карте, сотня дошла до деревни Горелое, стала на ночовку. Общим советом было решено итти на фронт, в случае попыток задержания — сражаться.

Стреножив лошадей и выставив сторожевое охранение, казаки улеглись позаревать. Огней не разводили. Чувствовалось, что у большинства настроение подавленное, улеглись без обычных разговоров и шуток, скрытно тая друг от друга мысли.

«Что, ежели одумаются и пойдут с повинной?» — не без тревоги подумал Иван Алексеевич, умащиваясь под шинелью.

Словно подслушав его мысль, подошел Турилин.

— Спишь, Иван?

— Пока нет.

Турилин присел у него в ногах, посвечивая огоньком цыгарки, сказал шопотом:

— Казаки-то мутятся... Нашкодили, а зараз побаиваются. Заварили мы кашку... — не густо — ты как думаешь?

— Там видно будет, — спокойно ответил Иван Алексеевич. — Ты-то не боишься?

Турилин, почесывая под фуражкой затылок, криво усмехнулся.

— По правде сказать, робею... Начинали — не робел, а зараз оторопь берет.

— Жидок оказался на расплату.

— Да ить што, Иван, — ево сила.

Они долго молчали. В деревне гасли огни. Откуда-то, из безбрежных заливов болотистой, покрытой ивняком луговины, несся утиный кряк.

— Матерúка крячет, — раздумчиво проговорил Турилин и снова замолк.

Мягкая, ночная, ласковая тишина паслась на лугу Роса обминала траву. Смешанные запахи мочажинника, изопревшей кути, болотистой почвы, намокшей в росе травы, нес к казачьему стану ветерок. Изредка звяк конской треноги, брызжущее фырканье да тяжелый туп и кряхтенье валяющейся лошади. Потом опять сонная тишина, далекий-далекий, чуть слышный хрипатый зов дикого селезня и ответный — поближе — кряк подруги. Стремительный строчащий пересвист невидимых в темени крыльев. Ночь. Безмолвие. Туманная луговая сырость. На западе у подножья неба — всхожая густо-лиловая опара туч. А посредине, над древней Псковской землей, неусыпным напоминанием, широким угляшимся шляхом вычеканен Батыев путь.

На рассвете сотня выступила в поход. Прошли деревню Горелое, вслед им долго смотрели бабы и ребятишки, выгонявшие на прогон коров. Поднялись на кирпично-красный, окрашенный восходом бугор. Турилин, оглянувшись, тронул ногой стремя Ивана Алексеевича.

— Оглянись, верховые сзади бегут...

Три всадника, окутанные розовым батистом пыли, миновав деревню, стлались в намете.

— Со-о-отня, стой! — скомандовал Иван Алексеевич.

Казаки с привычной быстротой построились серым квадратом. Всадники, не доезжая с полверсты, перешли на рысь. Один из них, казачий офицер, вынул носовой платок, помахал им над головой. Казаки не сводили глаз с под'езжавших. Офицер, одетый в защитный мундир, ехал передним, двое остальных, в черкесках, держались немного поодаль.

— По какому делу? — выезжая навстречу, спросил Иван Алексеевич.

— На переговоры, — прилаживая руку к козырьку, ответил офицер. — Кто из вас принял сотню?

— Я.

— Я уполномочен от 1-й донской казачьей дивизии, а это представители Туземной дивизии, — указал офицер глазами на горцев и, туго натягивая поводья, погладил рукой мокрую глянцевую шею взмыленного коня. — Если желаете вести переговоры, — прикажите сотне спе-

шиться. Я имею передать устное распоряжение начальника дивизии генерал-майора Грекова.

Казаки спешились. Сошли с коней и приехавшие представители. Нырнув в толпу казаков, они выплыли на средине. Сотня расступилась, очистив небольшой круг.

Первым заговорил казачий офицер:

— Станичники! Мы приехали для того, чтобы уговорить вас одуматься и предотвратить тяжелые последствия вашего поступка. Вчера штаб дивизии узнал о том, что вы, поддавшись чьим-то преступным уговорам, самовольно покинули вагоны, и сегодня направили нас передать вам распоряжение о немедленном возвращении на станцию Дно. Войска Туземной дивизии и остальные кавалерийские части вчера заняли Петроград — сегодня получена телеграмма. Наш авангард вступил в столицу, занял все правительственные учреждения, банки, телеграф, телефонные станции и все важные пункты. Временное правительство бежало и считается низложенным. Одумайтесь, станичники! Ведь вы идете на гибель! В таком случае, если вы не подчинитесь распоряжению командира дивизии, против вас будут направлены вооруженные силы. Ваш поступок расценивается как измена, как невыполнение боевого задания. Вы можете только беспрекословным подчинением предотвратить пролитие братской крови.

Когда под'ехали представители, Иван Алексеевич, учитывая настроение казаков, понял, что избежать переговоров нельзя, так как отказ от переговоров неизбежно должен был вызвать обратные результаты. Подумав, он отдал распоряжение сотне спешиться, сам, неприметно мигнув Турилину, протиснулся поближе к представителям Во время речи офицера видел, как, потупив головы, нахмурясь, слушают казаки; некоторые перешептывались Захар Королев криво улыбался, черная борода его плавилась по завшивевшей рубахе застывшим чугунным потоком; Борщев играл плеткой, косился в сторону; Пшеничников, округлив раззявленный рот, смотрел в глаза говорившему офицеру; Мартин Шамиль грязной рукой елозил по щекам, часто мигал, за ним желтело дурковатое лицо Багрова; пулеметчик Красников выжидательно щурился; Турилин сапно дышал; веснушчатый Обнизов, сдвинув на затылок фуражку, мотал чубатой головой, словно бык, почуявший на шее ярмо; весь второй взвод стоял, не поднимая голов, как на молитве; слитная толпа молчала, люди жарко и тяжко дышали, по лицам зыбью текла растерянность...

Иван Алексеевич понял, что в настроении казаков назрел переломный момент: еще несколько минут — и краснобаю-офицеру удастся повернуть сотню на свой лад. Во что бы то ни стало требовалось разрушить впечатление, произведенное словами офицера, поколебать невы-

сказанное, но уже сложившееся в умах казаков решение. Он поднял руку, обвел толпу расширенными, странно побелевшими глазами.

— Братцы! Погодите трошки! — и обращаясь к офицеру: — Телеграмма при вас?

— Какая телеграмма? — изумился офицер.

— Об том, што Петроград взяли.

— Телеграмма?.. Нет. При чем тут телеграмма?

— Ага! Нет!.. — единой грудью облегчающе вздохнула сотня.

И многие подняли головы, с надеждой устремили глаза на Ивана Алексеевича, а он, повысив сиповатый голос, уже насмешливо уверенно и зло кричал, властно греб к себе внимание.

— Нету, говоришь? А мы тебе поверим? На мякине хочешь подсидеть?

— Об-ман! — тулом вздохнула сотня.

— Телеграмма не мне адресована! Станичники! — убеждающе прижимал офицер к груди руки.

Но его уже не слушали. Иван Алексеевич, почуяв, что симпатии и доверчивость сотни вновь перекинулись к нему, резал, как алмазом по стеклу.

— А хучь бы и взяли, — нам с вами не по дороге! Мы не желаем воевать со своими. Против народа мы не пойдем! Стравить хотите? Нет! Перевелись на белом свете дураки! Генеральскую власть на ноги ставить не хотим. Так-то!

Казаки дружно загомонили, толпа качнулась, расплескалась криками.

— Вот это да!

— В разрез вогнал!

— Правильна-а-а-а!..

— Чего там х... пороть! Гнать их, этих благородий, взашей!

— Сваты приехали, тоже...

— В Петербурге вон три полка казачьих, а што-то они сомневаются против народа выходить.

— Слышь, Иван! Налаживай их по чем попало мешалкой! Нехай уезжают!

Иван Алексеевич глянул на представителей: казачий офицер, поджав губы, терпеливо выжидал; сзади него плечо к плечу стояли горцы— статный молодой офицер-ингуш, скрестив на нарядной черкеске руки, поблескивал из-под черной кубанки косыми миндалинами глаз, другой— пожилой рыжий осетин—стоял, небрежно отставив ногу; положив ладонь на головку гнутой шашки, он насмешливыми, щупающими глазами оглядывал казаков. Иван Алексеевич только что хотел прервать пере-

говоры, но его опередил казачий офицер; пошептавшись с офицером-ингушем, он зычно крикнул:

— Донцы! Разрешите сказать слово представителю Дикой дивизии?

Не дожидаясь согласия, ингуш, мягко ступая сапогами без каблуков, вышел на средину круга, нервно поправил узенький наборный ремешок.

— Братъя казаки! Зачим такой балшой шум? Надо говарть биз ожистачения. Вы нэ хатити генерала Корнилова? Вы хатити войны? Пожалуйста! Мы будим воивать. Ни страшно! Зовсим ни страшна! Сегодня же мы вас разыдавим. Два полка горцев идут за нашим спином. Ва! Какой может быть шум, зачим шум? — Вначале он говорил с видимым спокойствием, но под конец уже с повышенной страстностью кидал горячие фразы, в гортанную ломаную речь его вплетались слова родного языка. — Вас смущает вот этот казак, он—балшевик, а вы идете за ним! Ва! Что я нэ вижу? Арэстуйте его! Абэзаружти его!

Смелым жестом указывал он на Ивана Алексеевича и метался по тесному кругу побледневший, страстно жестикулирующий, с лицом, облитым коричневым румянцем. Товарищ его, пожилой рыжий осетин, хранил ледяное спокойствие; казачий офицер теребил изношенный темляк шашки. Казаки вновь приумолкли, вновь замешательство взволновало их ряды. Иван Алексеевич глядел неотрывно на ингуша-офицера, на зверино-белый оскал его зубов, на косую серую полоску пота, перерезавшую левый висок, с тоскою думал, что напрасно упустил момент, когда можно было словом одним кончить переговоры и увести казаков. Положение выручил Турилин. Он прыгнул на средину круга, отчаянно взмахнул руками, обрывая на вороте рубахи пуговицы, захрипел, задергался, пенясь бешеной слюной.

— Гады ползучие!.. Черти!.. Сволочи!.. Вас уговаривают, как б..., а вы ухи развесили!.. Офицерья вам свою нужду навязывают!.. Што вы делаете?.. Што-о-о вы де-ла-е-те?! Их рубить надо, а вы их слухаете?.. Головы им с плеч, корвину из них спустить! Покеда вы тут муздыкаетесь, — нас окружут!.. Из пулеметов посекут!.. Под пулеметом не замитингуешь!.. Вам нарошно очки втирают, покеда ихнее войско подойдет... А-а-а-а-э-э-х, вы, казаки! Юбошники вы! Бабьи побздюхи!..

— На конь!.. — громовым голосом рявкнул Иван Алексеевич.

Крик его лопнул на толпой шрапнельным разрывом. Казаки кинулись к лошадям. Через минуту рассеянная сотня уже строилась во взводные колонны.

— Послушайте! Станичники! — метался казачий офицер.

Иван Алексеевич сдернул с плеча карабин, твердо уложив пухло-

суставчатый палец на спуске, вонзая в губы заигравшего коня удила, крикнул:

— Кончились переговоры! Теперь ежли доведется гутарить с вами, так уж будем вот этим языком.

И он выразительно потряс винтовкой.

Взвод за взводом выехали на дорогу. Оглядываясь, казаки видели, как представители, посадившись на коней, о чем-то совещаются. Ингуш, сузив глаза, что-то горячо доказывал, часто поднимал вверх руку: белая шелковая подкладка отвернутого обшлага на рукаве его черкески снежно белела.

Иван Алексеевич, глянув в последний раз, увидел эту ослепительно сверкающую полоску шелка, и перед глазами его почему-то встала взлохмаченная ветром-суховеем грудь Дона, зеленые гривастые волны и косо накренившееся, чертящее концом верхушку волны белое крыло чайки-рыболова.

XVI

Уже 29 августа из телеграмм, получаемых от Крымова, Корнилову стало ясно, что дело вооруженного переворота погибло.

В два пополудни в ставку прибыл от Крымова офицер-ординарец. Корнилов долго беседовал с ним, после вызвал Романовского, нервно, комкая какую-то бумагу, сказал:

— Рушится все! Нашу карту побьют... Крымов не сможет во-время стянуть корпус к Петрограду, момент будет упущен, а промедление сейчас гибели подобно. То, что казалось так легко осуществимо, встречает тысячи препятствий. Исход предрешен в отрицательную сторону... Вот... посмотрите-ка, как эшелонировались войска! — Он протянул Романовскому карту с отметками последнего местопребывания эшелонов корпуса и Туземной дивизии; судорога зигзагой прошлась по его энергическому, измятому бессоницей лицу.— Вся эта железнодорожная сволочь вставляет нам палки в колеса. Они не думают о том, что в случае удачи я прикажу вешать десятого из них Ознакомьтесь с донесением Крымова.

Пока Романовский читал, поглаживая большой ладонью свое одутловатое масляное лицо, Корнилов бегло написал:

«Новочеркасск, войсковому атаману Алексею Максимовичу Каледину.

Сущность вашей телеграммы Временному правительству доведена до моего сведения. Истощив терпение в бесплодной борьбе с изменниками и предателями, славное казачество, видя неминуемую гибель родины, с оружием в руках отстоит жизнь и свободу

страны, которая росла и ширилась его трудами и кровью. Наши отношения остаются в течение некоторого времени стесненными. Прошу вас действовать в согласованности со мной, — так, как вам подскажет любовь к родине и честь казака. 658.29.8 17. Генерал Корнилов».

— Передайте немедленно эту телеграмму, — дописав, попросил он Романовского.

— Прикажете посылать повторную телеграмму князю Багратиону о том, чтобы дальнейшее следование производилось походным порядком?

— Да, да.

Романовский, помолчав, раздумчиво проговорил:

— По-моему, Лавр Георгиевич, пока у нас нет еще оснований быть пессимистически настроенными. Вы неудачно предвосхищаете ход событий...

Корнилов, суетливо выкидывая руку, пытался поймать порхавшую над ним крохотную лиловую бабочку. Пальцы его сжимались, на лице было слегка напряженное ожидающее выражение. Бабочка, колеблемая рывками воздуха, спускаясь, планировала крыльями, стремилась к открытому окну. Корнилову все же удалось поймать ее, и он облегчающе задышал, откинулся на спинку кресла.

Романовский ждал ответа на свою реплику, но Корнилов, задумчиво и хмуро улыбаясь, стал рассказывать:

— Сегодня я видел сон. Будто я — бригадный командир одной из стрелковых дивизий, веду наступление в Карпатах. Вместе со штабом приезжаем на какую-то ферму. Встречает нас пожилой, нарядно одетый русин. Он потчует меня молоком и, снимая войлочную белую шляпу, говорит на чистейшем немецком языке: «Кушай, генерал! Это молоко необычайно целебного свойства» Я будто бы пью и не удивляюсь тому, что русин фамильярно хлопает меня по плечу. Потом мы шли в горах, и уже как будто бы не в Карпатах, а где-то в Афганистане, по какой-то козьей тропе... Да, вот именно козьей тропкой: камни и коричневый щебень сыпались из-под ног, а внизу за ущельем виднелся роскошный южный, облитый белым солнцем ландшафт..

Легкий сквозняк шевелил на столе бумаги, тек между распахнутых створок окна. Затуманенный и далекий взгляд Корнилова бродил где-то за Днепром, по ложбинистым увалам, искромсанным бронзовой прожелтенью луговин.

Романовский проследил за его взглядом, и сам, неприметно вздохнув, перевел глаза на слюдяной глянец застекленного безветрием Днепра, на дымчатые поля Молдавии, покрытые нежнейшей предосенней ретушью.

XVII

Кинутые на Петроград части 3-го конного корпуса и Туземной дивизии эшелонировались на огромном протяжении восьми железных дорог: Ревель, Везенберг, Нарва, Ямбург, Гатчина, Сомрино, Вырица, Чудово, Гдов, Новгород, Дно, Псков, Луга и все остальные промежуточные станции и раз'езды были забиты медленно передвигавшимися, застревавшими эшелонами. Полки находились вне всякого морального воздействия старшего командного состава, расчлененные сотни теряли меж собой связь. Путаница усугублялась тем, что корпус с приданной к нему Туземной дивизией на походе разворачивался в армию; требовалось известное перемещение и сборка разбросанных частей, перегруппировка эшелонов. Все это создавало неразбериху, бестолковые, зачастую несогласованные распоряжения, накаляло и без того напряженно-нервную атмосферу.

Встречая на своем пути стихийное противодействие рабочих и служащих железнодорожников, преодолевая препятствия, эшелоны корниловской армии тихо стекали к Петрограду, копились на узлах, вновь рассасывались.

В красных клетушках вагонов, у расседланных полуголодных лошадей, толпились полуголодные донские, уссурийские, оренбургские, нерчинские и амурские казаки, ингуши, черкесы, кабардинцы, осетины, дагестанцы. Эшелоны, ожидая отправки, часами простаивали на станциях, всадники густо высыпали из вагонов, саранчей забивали вокзалы, кучились на путях, пожирали все съедобное, что оставалось от проходивших ранее эшелонов, под сурдинку воровали у жителей, грабили продовольственные склады.

Желтые и красные лампасы казаков, щеголеватые куртки драгун, черкески горцев... Никогда не видела скупая на цвета северная природа такого богатого сочетания красок.

29 августа около Павловкса 3-я бригада Туземной дивизии, под командой князя Гагарина, уже вошла в соприкосновение с противником. Наткнувшись на разобранный путь Ингушский и Черкесский полки, шедшие в голове дивизии, выгрузились и походным порядком пошли по направлению на Царское Село. Раз'езды ингушей проникли до станции Сомрино. Полки замедленным темпом развивали наступление, теснили гвардейцев, выжидая пока подтянутся остальные части дивизии. А те в Дно ожидали отправки. Некоторые не доехали еще и до этой станции.

Командир Туземной дивизии, князь Багратион, находился в имении неподалеку от станции, ожидая сосредоточения остальных частей, не рискуя итти походным порядком до Варицы.

28-го он получил из штаба Северного фронта копию следующей телеграммы:

«Прошу комкору 3 и начальникам дивизии 1-й Донской, Уссурийской и кавказской Туземной передать приказание главковерха, что если, вследствие каких-либо непредвиденных обстоятельств, встретится затруднение к следованию эшелонов по железной дороге, то главковерх приказал дивизиям дальнейшее движение производить походным порядком, 27 августа 1917 года, № 6411. Романовский».

Около 9 часов утра Багратион по телеграфу уведомил Корнилова о том, что в 6 часов 40 минут утра получил через начальника штаба Петроградского округа, полковника Багратуни, приказание Керенского вернуть все эшелоны обратно и что эшелоны дивизии задержаны по пути от раз'езда Гачки до станции Оредеж, так как железная дорога, согласно распоряжению Временного правительства, не дает жезлов; но несмотря на то, что полученная им резолюция Корнилова гласила следующее: «Князю Багратиону. Продолжать движение по железной дороге: Если по железной дороге не представится возможным, то походным порядком до Луги, где поступить в полное подчинение генералу Крымову», — Багратион все же не решился итти походным порядком и отдал распоряжение о погрузке в вагоны штаба корпуса.

Полк, в котором когда-то служил Евгений Листницкий, совместно с остальными полками, входившими в состав 1-й донской казачьей дивизии, перебрасывался на Петроград по линии Ревель — Везенберг — Нарва. 28-го, в 5 пополудни, эшелон из двух сотен полка прибыл в Нарву. Командир эшелона узнал, что в ночь выехать нельзя, так как между Нарвой и Ямбургом испорчен путь, часть железнодорожного батальона направлена туда экстренным поездом, и к утру, если успеют восстановить путь, эшелон будет отправлен. Волей-неволей эшелонному пришлось согласиться. Чертыхаясь, он влез в свой вагон, поделился новостью с офицерами, засел пить чай.

Ночь стала пасмурная. С залива дул сырой пронизывающий ветер. На путях, в вагонах, глухо переговаривались казаки, да копытили деревянные полы лошади, обеспокоенные паровозными гудками. В хвосте эшелона молодой казачий голос пел, жаловался в темноте неведомо кому.

Прощай, ты, город и местечко,
Прощай, родимый хуторок!

Прощай, ты, девка молодая,
Ой, да прощай, лазоревой цветок!
Бывало, от зари до зорьки
Лежал у милки да на руке,
А и эх, теперя от зари до зорьки
Стою с винтовкою в руке...

Из-за серой махины пакгауза вышел человек. Постоял, прислушиваясь к песне, оглядел пути, отмеченные желтыми запятыми огней, уверенно пошел к эшелону. Шаги его немо звучали по шпалам, глохли, когда наступал и шел по утрамбованному суглинку земли. Он миновал крайний вагон, его окликнул, оборвав песню, стоявший у дверей казак.

— Кто таков?

— А тебе кого? — нехотя отозвался, уходя.

— Чево шляешься по ночам? Мы вас, жуликов, шлепаем! Присматриваешь, што плохо лежит?

Не отвечая, человек прошел до средины состава, спросил, просовывая голову в дверную щель вагона.

— Какая сотня?

— Арестанская, — хахакнули из темноты.

— Делом спрашиваю, — какая?

— Вторая.

— Четвертый взвод где?

— Шестой от головы вагон.

У шестого от паровоза вагона курили трое казаков. Один сидел на корточках, двое стояли около. Они молча смотрели на подходившего к ним человека.

— Здорово живете, станичники!

— Славу богу, — ответил один, всматриваясь в лицо подошедшего.

— Никита Дугин живой? Тут он?

— А вот я, — певческим тенорком отозвался сидевший на корточках и встал, каблуком задавил цыгарку. — Не опознаю тебя. Чей ты? Откель? — Он вытянул бородатое лицо, стараясь разглядеть незнакомого человека в шинели и помятой солдатской фуражке, и вдруг смял в горсти клок своей свалявшейся бороды и изумленно крякнул: — Илья! Бунчук? Любезный мой, откель тебя лихоманец вытряхнул?

Подержав в шершавой ладони волосатую руку Бунчука, нагибаясь к нему, негромко сказал:

— Это свои ребяты, ты их не боись. Откель ты очутился тут? Говори же, еж тебя наколи!

Бунчук за руку поздоровался с остальными казаками, ответил надломленным, чугунно-глухим голосом:

— Приехал из Питера, насилу разыскал вас. Дело есть. Надо потолковать. Я, брат, рад видеть тебя живым и здоровым.

Он улыбался, на сером квадрате его большого лобастого лица белели зубы, тепло, сдержанно и весело поблескивали глаза.

— Потолковать? — пел тенорок бородатого. — Ты хучь и офицер, а нашим кумпанством, значит, не гребуешь? Ну, спасибо, Илюша, спаси Христос, а то мы ласковое слово и ощупкой не пробовали... — в голосе его подрагивали нотки добродушного, беззлобного смеха.

Бунчук, слухом улавливая их, так же приветливо отшутился:

— Будет, будет тебе воду мутить! Ты все играешься! Шутки шутишь, а у самого борода ниже пупка.

— Бороду мы могем в любой час побрить, а вот ты скажи, што там в Питере? Бунты зачались?

— Пойдем-ка в вагон, — обещающе предложил Бунчук.

Они по очереди влезли в вагон. Бородатый кого-то расталкивал ногами, вполголоса говорил:

— Вставайте, ребятешь! Человек нужный прибыл к нам в гости. Ну, поторапливайтесь, служивые, поскореича!

Казаки покряхтывали, вставали. Чьи-то большие, провонявшие табаком и конским потом ладони, бережно касаясь, ощупали в темноте лицо присевшего на седло Бунчука; густой мазутный бас спросил:

— Бунчук?

— Я. А это ты, Чикамасов?

— Я, я. Здорово, дружок!

— Здравствуй.

— Зараз сбегаю ребят третьего взвода покличу. Ну-ну?

— Мотай.

Третий взвод пришел почти целиком, лишь двое остались при лошадях. Казаки подходили к Бунчуку, совали черствые краюхи ладоней, наклоняясь, вглядывались при свете фонаря в его большое, угрюмоватое лицо, называли то Бунчуком, то Ильей Митричем, то Илюшей, но во всех голосах одним тоном звучал товарищеский теплый привет.

В вагоне стало душно. На досчатых стенах танцовали световые блики, качались и увеличивались в размерах безобразные тени, жирным лампадным светом дымился фонарь.

Бунчука заботливо усадили к свету. Передние сидели на корточках, остальные, стоя, обручем сомкнулись вокруг. Тенористый Дугин, откашлялся.

— Письмо твою, Илья Митрич, мы надысь получили, одначе нам хотится послушать от тебя, и штоб ты посоветовал нам, как в дальнеюшчем быть. Ить двигают нас к Питеру — што ты поделаешь?

— Видишь, какое дело, Митрич, — заговорил стоявший у самых дверей казак с серьгой в морщенной мочке уха; тот самый казак, которого обидел некогда Листницкий, не разрешив кипятить чай на окопном щите: — тут к нам подбиваются разные агитаторы, отговаривают — мол, не ходите на Петроград, мол, воевать нам промеж себя не из чево и разное подобное гутарют. Мы слухать — слухаем, а веры им дюже не даем. Чужой народ. Может, они нас под монастырь надворничать ведут, — кто их знает? Откажись, а Корнилов черкесов направит — и вот опять кроворазлитие выйдет. А вот ты — наш, казак, и мы тебе веры больше даем и очень даже благодарственны, што письмишки нам из Питера писал и газеты опять же... тут, признаться, бумагой бедствовали, а газеты получим...

— Чево мелешь, чево брешешь, дурья голова? — возмущенно перебил один.— Ты — неграмотный, так думаешь — и всем темно, так тебе? Как будто мы на курево газеты потребляли! Вперед, Илья Митрич, мы их от головы до хвоста перечитаем, бывалоча.

— Набрехал, дьявол грызной!

— «На курево» — рубанул тоже!

— С дуру, как с дубу!

— Братушки! Я не в том понятии сказал, — оправдывался казак с серьгой. — Конешно, спервоначалу мы газеты читали...

— Вы самое читали.

— Мне грамоту не привелось узнать... к тому говорю, што вообче читали, а потом уж на курево...

Бунчук, скупо улыбаясь, сидел на седле, посматривал на казаков; ему неудобно было говорить сидя, он привстал и, поворачиваясь к фонарю спиной, медленно, натужно и неуверенно заговорил:

— В Петрограде вам делать нечего. Никаких бунтов там нет. Знаете вы, для чего вас туда посылают? Чтобы свергнуть Временное правительство... вот! Кто вас ведет? — царский генерал Корнилов. Для чего ему надо спихнуть Керенского? — чтобы самому сесть на это место. Смотрите, станичники! Деревянное ярмо с вас хочут скинуть, а уж ежели наденут, так наденут стальное! Из двух бед надо выбирать беду, какая поменьше. Не так ли? Вот и рассудите сами: при царе в зубы вас били, вашими руками на войне жар загребали. Загребают и при Керенском, но в зубы не бьют. При Керенском хоть немножко, но лучше. Но еще лучше будет после Керенского, когда власть перейдет к большевикам. Большевики войны не хотят. Будь власть в их руках, — сейчас же был бы мир. Я не за Керенского, чорт ему брат, — все они одним миром мазаны! — Бунчук улыбнулся и, вытирая рукавом пот со лба, продолжал: — Но я зову вас не проливать кровь с рабочими и пока

защищать Временное правительство. Почему защищать? — а потому, что если будет Корнилов, то в рабочей крови по колено станет бродить Россия, при нем труднее будет вырвать власть и передать ее в руки трудящегося народа

— Погоди трошки, Илья Митрич! — сказал, выходя из задних рядов, небольшой казак, такой же коренастый, как и Бунчук; он откашлялся, потер длинные руки, похожие на обмытые водой корни дуба-перестарка, и, глядя на Бунчука улыбающимися, светло-зелеными, клейкими, как молодые листки, глазами, спросил: — Ты вот про ярмо гутарил... А большевики, как заграбают власть, какую ярмо на нас наденут?

— Ты что же, сам на себя будешь ярмо надевать?

— Как это — сам?

— А так. Ведь при большевиках кто будет у власти? — ты будешь, если выберут, или Дугин, или вот этот дядя. Выборная власть, совет. Понял?

— А сверху кто?

— Опять же кого выберут. Выберут тебя — и ты будешь сверху.

— Ой-ли? А не брешешь ты, Митрич?

Казаки засмеялись, заговорили все сразу, даже часовой, стоявший у двери, отошел на минуту, вмешался в разговор.

— А в щет землишки они как?

— Не заберут у нас?

— Войну-то прикончут? Или, может, зараз тольки сулятся, штоб за них руки подымали.

— Ты нам все по совести рассказывай!

— Мы тут в потёмках блукаем.

— Чужим-то верить опасно. Брехни много ..

— Вчерась матросик какой-то об Керенском плакал, а мы его за волосья да из вагона.

— «Вы,— шумит,— кондры!..» Чудак!

— Мы этих слов не понимаем, с чем их едят.

Бунчук, поворачиваясь во все стороны, щупал глазами казаков, ждал, пока угомонятся. У него исчезла бывшая вначале неуверенность в успехе своего предприятия, и он, завладев настроением казаков, уже твердо знал, что во что бы то ни стало задержит эшелон в Нарве. Днем позже, когда, явившись в Петроградский районный комитет партии, он предложил себя в качестве агитатора для работы среди подходивших к Петрограду частей 1-й донской дивизии, был уверен в успехе, но добрался до Нарвы — и уверенность в нем поколебалась. Он знал, что какими-то иными словами надо говорить с казаками, со страхом чув-

ствовал, что, пожалуй, и не найдет общего языка, потому что девять месяцев назад, вернувшись в рабочую гущу, вновь кровно сросся с ней, выступая, привык, что его чувствуют и понимают с полуслова, а тут, с земляками, требовался иной, полузабытый, черноземный язык, ящеринная изворотливость, какая-то большая сила убеждения, — чтобы не только опалить, но и зажечь, чтобы уничтожить веками напластовывавшийся страх ослушания, раздавить косность, внушить чувство своей правоты и повести за собой.

Вначале, когда заговорил, собственным слухом ловил в голосе своем спотыкающуюся неуверенность, какую-то фальшь, наигранность, будто со стороны вслушивался в свои бессочные слова, ужасался неубедительности приводимых доводов, мучительно шарил в голове, разыскивал какие-то большие, тяжелые глыбы слов, чтобы ломать ими, крушить... и вместо этого с неиз'яснимой горечью ощущал, как мыльными пузырями срываются с его губ легковесные фразы, а в голове путаются выхолощенные скользкие мысли. Он стоял, обжигаясь потом, тяжко дыша. Говорил, просверливаемый на вылет одной мыслью: «Мне доверили такое большое дело — и вот я его поганю собственными руками... Слова не свяжу... да что же это со мной? Другой на моем месте сказал бы и убедил в тысячу раз лучше... О, чорт, какая же я бездарь!»

Казак с зелеными клейкими глазами, спросивший об ярме, выбил его из состояния дурного полузабытья; разговор, поднявшийся после этого, дал ему возможность встряхнуться, оправиться, и после, дивясь самому себе, чувствуя необычайный прилив сил и богатейший подбор ярких, отточенных, режущих слов, он загорелся и, тая под внешним спокойствием прихлынувшее возбуждение, уже веско и зло разил ехидные вопросы, вел разговор, как всадник, усмиривший досель необ'езженного, запененного в скачке коня.

—А ну, скажи: чем плохое Учредительное собрание?

— Ленина-то вашего немцы привезли... нет? А откель же он взялся... с вербы?

— Митрич, ты своей охотой приехал, аль подослали тебя?

— Войсковые земли кому отойдут?

— А чем нам при царе плохо жилось?

— Меньшевики ить тоже за народ?

—У нас Войсковой круг, власть народная — на што нам советы? — спрашивали казаки.

Разошлись за полночь. На следующее утро порешили собраться обеими сотнями на митинг. Бунчук остался ночевать в вагоне. Чикамасов предложил ему ложиться с ним. Крестясь на сон грядущий, укладываясь, предупредил:

— Ты, Илья Митрич, может, без опаски ложишься, так ты извиняй... У нас, дружок, вошки водются. Коли наберешься — не обижайся. С тоски такую ядреную вшу развели, што прямо беда! Каждая с холмогорскую телку ростом. — Помолчав, он тихонько спросил: — Илья Митрич, а из каких народов Ленин будет? Словом, иде он родился и произрастал?

— Ленин-то? — русский.

— Хо?!

— Верно, русский.

— Нет, браток! Ты, видать, плохо об нем знаешь, — с оттенком собственного превосходства пробасил Чикамасов. — Знаешь, каких он кровей? — наших. Сам он из донских казаков, родом из Сальскова округа, станицы Великокняжеской, — понял? Служил батарейцем — гутарют. И личность у нево подходящая — как у низовских казаков: скулья здоровые и опять же глаза.

— Откуда ты слышал?

— Гутарили промеж собой казаки, довелось слыхать.

— Нет, Чикамасов! Он — русский, Симбирской губернии рожак.

— Не, не поверю. А очень даже просто не поверю! Пугач из казаков? А Степан Разин? А Ермак Тимофеич? То-то и оно! Все, какие беднеющий народ на царей подымали, — все из казаков. А ты вот говоришь — Сибирской губернии. Даже обидно, Митрич, слухать такое...

Улыбаясь, Бунчук спросил:

— Так говорят, что — казак?

— Он и есть казак, тольки зараз не об'является. Я, как на личность глазами кину, — до разу опознаю. — Чикамасов закурил и, дыша в лицо Бунчуку густым махорочным запахом, задумчиво кашлянул: — Диву я даюсь, и мы тут до драки спорили: ежли он, Владимир Ильгич — нашинский казак, батареец, то откель он мог такую огромадную науку почерпнуть? Гутарют, будто спервоначалу войны попал он к немцам в плен, обучался там, а потом все науки прошел, да как начал ихних рабочих бунтовать да ученым очки вставлять, — они и перепужались до смерти. «Иди, говорят, лобастый, во-своясы, Христос с тобой, а то ты нам таких делов напутляешь, што и в жисть не расхлебать!», — и проводили ево в Россию, забоялись, как бы он рабочих не настропалил. Ого! Он, брат, зубец! — не без хвастливости произнес Чикамасов последнюю фразу и радостно засмеялся в темноту. — Ты, Митрич, не видал ево? Нет? Жалко. Гутарют, у него башка огромадная. — Покашлял, выпустил через ноздрину рыжий сноп дыма и, докуривая цыгарку, продолжал: — Во каких бабы побольше бы родили. Зубец, пра! Он ишо ни одному царю перекрут сделает... — И вздохнул: — Нет, Митрич, ты

не спорий со мной: Илыгич-то — казак... Чево уж там тень наводить?! В Сибирской губернии таких и на кореню не бывает.

Бунчук промолчал, долго лежал, улыбаясь, не закрывая глаз.

Уснул не скоро, — его и в самом деле густо обсыпали вши, расползлись под рубахой огневой, нудной чесоткой; рядом вздыхал и скреб тело Чикамасов, отпугивала дремоту чья-то фыркающая беспокойная лошадь. Он совсем уже было-заснул, но неполадившие лошади задрались, затопотали, зло взвизжались.

— Балуй, дьявол!.. Тр-р-р! Тр-р-р, проклятый!.. — заспанным тенорком вскричал вскочивший Дугин и чем-то тяжелым ударил ближнюю лошадь.

Бунчук, одолеваемый вшами, поворочался, перевернулся на другой бок и, с досадой сознавая, что сон ушел надолго, стал думать о завтрашнем митинге. Пытался представить — во что выльется противодействие офицеров, усмехнулся: «Сбегут, чаверное, если казаки дружно запротестуют, а, впрочем, чорт их знает?! На всякий случай договорюсь с гарнизонным комитетом». Как-то непроизвольно вспомнил эпизод из войны, атаку в октябре 1915 года, а затем память, словно обрадовавшись, что направили ее на знакомую, утоптанную тропу, настойчиво и злорадно стала подсовывать обрезки воспоминаний: лица, безобразные позы убитых русских и немецких солдат, разноголосую речь, бескрасочные, стертые временем куски виденных когда-то пейзажей, невысказанные, почему-то сохранившиеся мысли, внутренне еле ощутимые отзвуки орудийной канонады, знакомый стук пулемета и шорох ленты, бравурную мелодию, красивый до боли, чуть блеклый рисунок рта любимой когда-то женщины и опять — клочки войны: убитые, осевшие холмики братских могил...

Бунчук засуетился, приподнявшись, сел, вслух сказал или только подумал: «До смерти буду носить вот эти воспоминания, и не я один, а все, кто уцелеет. Искалечили, надругались над жизнью!.. Проклятые! Проклятые! . Вы и смертью не покроете свою вину!..»

И еще вспомнил двенадцатилетнюю Лушу, дочь убитого на войне петроградского рабочего-металлиста, приятеля, с которым некогда вместе работали в Туле. Вечером шел по бульвару. Она — этот угловатый, щуплый подросток — сидела на крайней скамье, ухарски раскинув тоненькие ноги, покуривая. На увядшем лице ее — усталые глаза, горечь в углах накрашенных, удлиненных преждевременной зрелостью губ. «Не узнаете, дяденька?» — хрипло спросила она, улыбаясь с профессиональной заученностью, и встала, совсем по-детски беспомощно и горько заплакала, сгорбясь, прижимаясь головой к локтю Бунчука.

Он чуть не задохнулся от хлынувшей в него ядовитой, как газ, не-

нависти, бледнея и зрительно чувствуя это, заскрипел зубами, застонал. После долго растирал волосатую грудь, дрожал губами; ему казалось, что ненависть скипелась в груди горячим комком шлака, тлея, мешает дышать и причиняет эту боль в левой стороне под сердцем.

Он не уснул до утра. А с рассветом пожелтевший, угрюмый больше, чем всегда, пошел в комитет железнодорожников, договорился, что казачий эшелон из Нарвы не выпустят, и через час вышел на поиски членов гарнизонного комитета.

Вернулся к составу в восьмом часу. Шел, всем телом ощущая утреннюю тепловатую прохладу, смутно радуясь и вероятном успеху своей поездки, и солнцу, перелазившему через ржавую крышу пакгауза, и музыкальному, певучему тембру доносившегося откуда-то женского голоса. Перед зарей отзвенел дождь, буйный, проливной и короткий. Песчаная земля на путях была размыта, извилюжена следами крохотных ручейков, пресно пахла дождем и еще хранила на своей поверхности там, где втыкались дождевые капли, густой засев чуть подсохших, крохотных ямочек — будто оспа изрябила ее.

Обходя состав, навстречу Бунчуку шел офицер в шинели и высоких обляпанных грязью сапогах. Бунчук угадал есаула Калмыкова, чуть замедлил шаг, выжидая. Они сошлись Калмыков остановился, холодно блеснул косыми черными глазами.

— Хорунжий Бунчук? Ты на свободе? Прости, руки я тебе не подам...

Он туго сжал губы, сунул руки в карманы шинели.

— Я не собираюсь протягивать тебе руку... ты поспешил, — насмешливо отозвался Бунчук.

— Ты, что же, спасаешь здесь шкуру? Или... приехал из Петрограда? Не от душки ли Керенского?

— Это что — допрос?

— Законное любопытство к судьбе некогда дезертировавшего сослуживца.

Бунчук, затая усмешку, пожал плечами.

— Могу тебя успокоить: я приехал сюда не от Керенского.

— Но ведь вы же сейчас, перед лицом надвигающейся опасности, трогательно единитесь. Итак, все же, кто ты? Погон нет, шинель солдатская... — Калмыков, шевеля ноздрями, презрительно и сожалеюще оглядел сутуловатую фигуру Бунчука: — Политический коммивояжер? Угадал? — не дожидаясь ответа, повернулся, размашисто зашагал.

У своего вагона Бунчука встретил Дугин.

— Чево ж ты? Митинг уж начался.

— Как начался?

— А так. Наш сотенный есаул Калмыков в отлучке был, а нынче прикатил из Питера на паровозе, созвал казаков. Зараз только пошел их уговаривать.

Бунчук задержался, выспрашивая о том, с какого времени был откомандирован в Петроград Калмыков. Со слов Дугина узнал, что тот отсутствовал почти месяц.

«Один из тех душителей революции, которых Корнилов посылал в Питер, под предлогом изучения бомбометания. Значит — надежный корниловец. Ну, ладно!» — отрывочно подумал он, направляясь вместе с Дугиным к месту митинга.

За пакгаузом серо-зеленый частокол казачьих гимнастерок и шинелей. В средине, окруженный офицерами, на опрокинутом боченке, стоял Калмыков, резко, раздельно кричал:

— ...довести до победного конца! Нам доверяют — и мы оправдаем это доверие! Сейчас я прочту телеграмму генерала Корнилова к казакам.

Он с излишней торопливостью вытащил из бокового кармана френча помятый листок, пошептался с эшелонным.

Бунчук и Дугин подошли, смешались с казаками.

«Казаки, дорогие станичники! — выразительно и не без под'ема читал Калмыков: — Не на костях ли ваших предков расширялись и росли пределы государства российского? Не вашей ли могучей доблестью, не вашими ли подвигами, жертвами и геройством была сильна великая Россия? Вы, вольные, свободные сыны тихого Дона, красавицы Кубани, буйного Терека, залетные могучие орлы уральских, оренбургских, астраханских, семиреченских и сибирских степей и гор и далеких Забайкалья, Амура и Уссури, всегда стояли на-страже чести и славы ваших знамен, и русская земля полна сказаниями о подвигах ваших отцов и дедов. Ныне настал час, когда вы должны притти на помощь родине. Я обвиняю Временное правительство в нерешительности действий, в неумении и неспособности управлять, в допущении немцев к полному хозяйничанью внутри страны, о чем свидетельствует взрыв в Казани, где взорвалось около миллиона снарядов и погибло 12.000 пулеметов. Более того. Я обвиняю некоторых членов правительства в прямом предательстве родины и тому привожу доказательства: когда я был на заседании Временного правительства в Зимнем дворце, 3 августа, министр Керенский и Савинков указали мне, что нельзя всего говорить, так как среди министров есть люди неверные. Ясно, что такое правительство ведет страну к гибели, что такому правительству верить нельзя, и вместе с ним не может быть спасения

несчастной России... Поэтому, когда вчера Временное правительство, в угоду врагов, потребовало от меня оставления должности верховного главнокомандующего, я, как казак, по долгу совести и чести, вынужден был отказаться от исполнения этого требования, предпочитая смерть на поле брани позору и предательству родины. Казаки, рыцари земли русской! Вы обещали встать вместе со мной на спасенье родины, когда я найду это нужным. Час пробил — ро́дина накануне смерти! Я не подчиняюсь распоряжениям Временного правительства и ради спасения свободной России иду против него и против тех безответственных советников его, которые продают родину. Поддержите, казаки, честь и славу беспримерно доблестного казачества, и этим вы спасете родину и свободу, завоеванную революцией. Слушайтесь же и исполняйте мои приказания! Идите же за мной! 28 августа 1917 года. Верховный главнокомандующий генерал Корнилов».

Калмыков помолчал, сворачивая листок выкрикнул:

— Агенты большевиков и Керенского препятствуют продвижению наших частей по железной дорге. Получено приказание верховного главнокомандующего: в том случае, если не представится возможным совершать переброску по железной дороге, то итти на Петроград походным порядком. Сегодня же мы выступаем. Приготовьтесь к выгрузке!

Бунчук, грубовато работая локтями, прорвался на средину, не подходя к кругу офицеров, зычно, по-митинговски крикнул:

— Товарищи казаки! Я послан к вам петроградскими рабочими и солдатами. Вас ведут на братоубийственную войну, на разгром революции. Если вам хочется итти против народа, если вам хочется восстанавливать монархию и продолжать войну до тех пор, пока все вы превратитесь в мертвецов и калек, — идите!.. Но петроградские рабочие и солдаты надеются, что вы не будете каинами. Они шлют вам пламенный братский привет и хотят видеть вас не врагами, а союзниками...

Договорить ему не дали. Поднялся неуемный шум, буря выкриков словно сорвала Калмыкова с боченка. Наклонившись, он быстрыми шагами шел к Бунчуку, не дойдя несколько шагов, вкрутнулся на каблуках.

— Казаки! Хорунжий Бунчук в прошлом году дезертировал с фронта, — вы это знаете. Что же, неужели мы будем слушать этого труса и предателя?

Командир шестой сотни, войсковой старшина Сукин, смял голос Калмыкова басистым раскатом.

— Арестовать его, подлеца! Мы кровь проливали, а он спасался по тылам!.. Берите его!

— Погодим бра-а-ать!

— Пущай говорит!

— На чужой роток нечево накидывать платок. Пущай выясняет свою направлению.

— Арестовать!

— Дезертиров нам не надо!

— Говори, Бунчук!

— Митрич! Рубани-ка их до сурепки!

— До-ло-о-ой!..

— Цыц, сучье вымя!

— Крой их! Крой их, Бунчук! Ты им вспоперек! Вспоперек!

На бочёнок вскочил высокий, без фуражки, казак, член полкового ревкома. На его тонкой шее по-змеиному вертелась голо остриженная, шишкастая, как дыня-зимовка, голова. Он горячо призывал казаков не подчиняться изменнику революции генералу Корнилову, говорил о гибельности войны с народом, закончил речь, обращаясь к Бунчуку:

— А вы, товарищ, не думайте, што мы вас, как и господа офицеры, презираем. Мы вам рады и уважаем, как представителя народа, и ишо за то уважаем, што, бывши вы офицером, не притесняли казаков, а были с ними вроде как по-братски. Грубова слова от вас мы не слыхали, но не думайте, што мы, необразованные люди, не понимаем обхожденья, — ласковое слово и скотина понимает, не то што человек. Земно вам кланяемся и просим передать питерским рабочим и солдатам, што на них руку мы не подымем!

Будто в литавры ахнули: грохот одобрительных криков достиг последней степени напряжения и, медленно спадая, утих.

Вновь на боченке качнулся, переламываясь статным торсом, Калмыков. О славе и чести седого Дона, об исторической миссии казачества, о совместно пролитой офицерами и казаками крови говорил он, задыхаясь, мертвенно бледнея.

Калмыкова сменил полный белобрысый казак. Злобную речь его, направленную против Бунчука, прервали, — оратора стянули за руки. На бочёнок вспрыгнул Чикамасов. Будто раскалывая полено, махнул руками, гаркнул:

— Не пойдем! Не будем сгружаться! В телеграмме прописано, будто казаки сулились помогать Корнилову, — а кто нас пытал? Не сулились мы ему! Офицерья из казачьево союзнова совета сулились! Греков хвостом намотал, — пущай он и помогает!..

Все чаще сменялись выступавшие. Бунчук стоял, угнув лобастую голову, земляным румянцем чернело его лицо, на шее и висках во вздувшихся жилах стремительно колотился пульс. Сгущалась наэлектризованная атмосфера. Чувствовалось, что еще немного — и каким-нибудь безрассудным поступком, кровью разрядится напряженность.

Со станции толпой пришли солдаты гарнизона, и офицеры покинули митинг.

Через полчаса запыхавшийся Дугин подбежал к Бунчуку.

— Митрич, што делать?.. Калмыков што-то удумал. Сгружают зараз пулеметы, гонца верховова куда-то послали.

— Пойдем туда. Собери человек двадцать казаков! Живо!

У вагона эшелонного Калмыков и три офицера навьючивали на лошадей пулеметы. Бунчук подошел первый, оглянулся на казаков и, сунув в карман шинели руку, выхватил новенький, заботливо вычищенный офицерский наган.

— Калмыков, ты арестован! Руки!..

Калмыков прыгнул от лошади, избочился, лапнул кобуру, но вытащить револьвера не успел: выше головы его цвинькнула пуля; опережая звук выстрела глухо, недобрым голосом крикнул Бунчук:

— Руки!..

Курок его нагана, обнажая клювик бойка, медленно поднялся до половины. Калмыков следил за ним сузившимися глазами, трудно поднимал руки, пощелкивая пальцами.

Офицеры неохотно сдали оружие.

— И шашки прикажете снять? — почтительно спросил молодой хорунжий-пулеметчик.

— Да.

Казаки развьючили лошадей, внесли пулеметы в вагон.

— К этим приставить часовых, — обратился Бунчук к Дугину. — Чикамасов арестует остальных и доставит их сюда. Слышишь, Чикамасов? А Калмыкова мы с тобой поведем в ревком гарнизона. Есаул Калмыков, изволь итти вперед.

Ловко! Ловко! — восхищенно сказал один из офицеров, прыгая в вагон и провожая глазами удалявшихся Бунчука, Дугина и Калмыкова.

— Господа! Стыдно, господа! Мы вели себя, как дети! Никто не сообразил во-время шлепнуть этого подлеца! Когда он направил на Калмыкова револьвер, тут бы ему раз — и готово бы!

Войсковой старшина Сукин с возмущением оглядел офицеров, долго доставал прыгающими пальцами папироску из портсигара.

— Ведь их целый взвод... перестреляли бы, — виновато заметил хорунжий-пулеметчик.

Офицеры молча курили, изредка переглядывались. Быстрота совершившегося их ошеломила.

Калмыков, покусывая кончик черного уса, некоторое время шел молча. Левая скуластая щека его горела, как от пощечины. Встречавшиеся жители смотрели изумленно, останавливались, шептались. Над Нарвой линяло предвечернее пасмурное небо. По путям червонными слитками лежали опавшие листья берез — август растерял, уходя. Через зеленый купол церковки перелетывали галки. Где-то за станцией, за сумеречными полями, дыша холодком, уже легла ночь, а от Нарвы на Псков, на Лугу, небесной целиной, бездорожьем все еще шли загрунтованные свинцовыми белилами вечера рваные облака; переходя невидимую границу, теснила сумерки ночь.

Подле станции Калмыков круто повернулся, плюнул в лицо Бунчуку.

— Под-лец!..

Бунчук, уклонившись от плевка, взмахом поднял брови и долго сжимал левой рукой кисть правой, порывавшейся скользнуть в карман.

— Иди!.. — насилу выговорил он.

Калмыков пошел, безобразно ругаясь, выплевывая грязные сгустки слов, порожденных на фронте смертной тоской, страхом, отчаянием и болью.

— Ты предатель! Изменник! Ты поплатишься за это! — выкрикивал он, часто останавливаясь, наступая на Бунчука.

— Иди! Прошу... — всякий раз уговаривал тот.

И Калмыков, сжимая кулаки, снова срывался с места, шел толчками, как запаленная лошадь. Они подошли к водокачке. Скрипя зубами, Калмыков кричал:

— Вы не партия, а банда гнусных подонков общества! Кто вами руководит? — немецкий главный штаб! Боль-ше-ви-ки... х-х-ха! Ублюдки! Вашу партию, сброд этот, покупают как б... Хамы! Хамы, мать вашу... продали родину!.. Я бы всех вас на одной перекладине... О-о-о-о! Время придет!.. Ваш этот Ленин не за тридцать немецких марок продал Россию?! Хапнул миллиончик — и скрылся... каторжанин!..

— Становись к стенке! — протяжно, заикаясь, крикнул Бунчук.

Дугин испуганно затомашился.

— Илья Митрич, погоди! Чевой-то ты? Пос-то-ой!..

Бунчук, с обезображенным яростью, почерневшим лицом, подскочил к Калмыкову, крепко ударил его в висок. Топча ногами слетев-

шую с головы Калмыкова фуражку, он тащил его к кирпичной темной стене водокачки.

— Станови-ись!

— Ты что?!. Ты!.. Не смей!.. Не смей бить!.. — рычал Калмыков, сопротивляясь.

Глухо ударившись спиной о темную стену водокачки, он выпрямился, понял:

— Убить хочешь?

Изогнувшись, торопился Бунчук, рвал револьвер, курком зацепившийся за подкладку кармана.

Калмыков шагнул вперед, быстро застегивая шинель на все пуговицы.

— Стреляй, сукин сын! Стреляй! Смотри, как умеют умирать русские офицеры... Я и перед сме-е... о-о-ох!..

Пуля вошла ему в рот. За водокачкой, взбираясь на ступеньчатую высоту, спиралью взвилось хрипатое эхо. Споткнувшись на втором шагу, Калмыков левой рукой обхватил голову, упал. Выгнулся крутой дугой, сплюнул на грудь черные от крови зубы, сладко почмокал языком. Едва лишь спина его, выпрямляясь, коснулась влажного щебня, Бунчук выстрелил еще раз. Калмыков дернулся, поворачиваясь на бок, как засыпающая птица, подвернул голову под плечо, коротко всхлипнул.

На первом перекрестке Дугин догнал Бунчука.

— Митрич... Што же ты, Митрич?.. За што ты ево?

Бунчук долго тряс плечи Дугина, вонзая в глаза ему насталенный неловкий взгляд, сказал странно-спокойным, потухшим голосом:

— Они нас, или мы их!.. Середки нету. Пленных нету. На кровь — кровью. Кто кого?.. Война на истребление... понял? Таких, как Калмыков, надо уничтожать, давить, как гадюк. И тех, кто слюнявится жалостью к таким, стрелять надо... понял? Чего слюни развесил? Сожмись! Злым будь! Калмыков, если бы его власть была, стрелял бы в нас, папироски изо рта не вынимая, а ты... Эх, мокрогубый!

У Дугина долго тряслась голова, пощелкивали зубы, и как-то нелепо путались большие, в порыжелых сапогах, ноги.

По безлюдному руслу улички шли молча. Бунчук изредка поглядывал назад. Над ними в темноте низко пенились, устремляясь на восток, траурно-черные облака. В просвет, с крохотного клочка августовского неба, зеленым раскосым оком мертвеца глядел ущербленный, омытый вчерашним дождем, месяц. На ближнем перекрестке стояли, прижимаясь друг к дружке, солдат и женщина в белом, на-

кинутом на плечи платке. Солдат обнимал женщину, притягивая ее к себе, что-то шептал, а она, упираясь ему в грудь руками, откидывала голову, бормотала захлебывающимся голосом: «Не верю! Не верю», — и приглушенно молодо смеялась.

XVIII

31 августа в Петрограде застрелился вызванный туда Керенским генерал Крымов.

С повинной потекли в Зимний дворец делегации и командиры частей крымовской армии. Люди, недавно шедшие на Временное правительство войной, теперь любезно расшаркивались перед Керенским, уверяя его в своих верноподданнических чувствах.

Разбитая морально, крымовская армия еще агонизировала: части по инерции катились к Петрограду, но движение это уже утратило всякий смысл, ибо подходил к концу корниловский путч, гасла взметнувшаяся бенгальским огнем вспышка реакции, и временный правитель республики, правда, растерявший за эти дни мясистость одутловатых щек, по-наполеоновски дрыгая затянутыми в краги икрами, уже говорил на очередном заседании правительства о «полной политической стабилизации».

За день до смерти Крымова генерал Алексеев получил назначение на должность главковерха. Корректный и щепетильный Алексеев, понимая всю неприглядную двусмысленность своего положения, вначале категорически отказался, но потом принял назначение, руководясь единственно желанием облегчить участь Корнилова и тех, кто был так или иначе замешан в организации его антиправительственного мятежа.

31-го с пути он по прямому проводу снесся со ставкой, пытаясь уяснить отношение Корнилова к его назначению и приезду. Нудные переговоры длились с перерывом до поздней ночи.

В этот же день у Корнилова происходило совещание чинов штаба и лиц, Корнилову близких. На поставленный им вопрос о целесообразности дальнейшей борьбы с Временным правительством большинство присутствовавших на совещании высказалось за продолжение борьбы.

— Прошу вас высказаться, Александр Сергеевич, — обратился Корнилов к Лукомскому, молчавшему на протяжении всего совещания.

Тот в сдержанных, но решительных выражениях возражал против продолжения междоусобной брани.

— Капитулировать? — спросил, резко прерывая его, Корнилов.

Лукомский пожал плечами.

— Выводы напрашиваются сами собой.

Разговоры длились еще в течение получаса. Корнилов молчал, видимо, огромным усилием воли удерживая самообладание. Совещание вскоре распустил, а через час вызвал к себе Лукомского.

— Вы правы, Александр Сергеевич! — хрустнул пальцами и, глядя куда-то в сторону угасшими, седыми, словно осыпанными пеплом глазами, устало сказал: — Дальнейшее сопротивление было бы и глупо и преступно.

Долго барабанил пальцами, вслушивался во что-то — быть может, в мышиную суетню собственных мыслей; помолчав, спросил:

— Когда приедет Михаил Васильевич?

— Завтра.

1 сентября приехал Алексеев. Вечером этого же дня, по приказанию Временного правительства, он арестовал Корнилова, Лукомского и Романовского. Перед отправкой арестованных в гостиницу «Метрополь», где они должны были содержаться под стражей, Алексеев с глазу на глаз о чем-то в течение двадцати минут беседовал с Корниловым; вышел из его комнаты, глубоко потрясенный, почти не владеющий собой. Романовский, пытавшийся пройти к Корнилову, был остановлен его женой.

— Простите! Лавр Георгиевич просил никого к нему не допускать.

Романовский бегло взглянул на ее расстроенное лицо и отошел, взволнованно помаргивая, чернея верхушками щек.

В Бердичеве на другой же день был арестован главнокомандующий Юго-Западным фронтом генерал Деникин, его начштаба — генерал Марков, генерал Ванновский и командующий Особой армии генерал Эрдели.

В Быхове, в женской гимназии, бесславно закончилось ущемленное историей корниловское движение. Закончилось, породив новое; где же, как не там возникли зачатки планов будущей гражданской войны и наступления на революцию развернутым фронтом?

XIX

В последних числах октября, рано утром, есаул Листницкий получил распоряжение от командира полка — с сотней в пешем строю явиться на Дворцовую площадь.

Отдав распоряжение вахмистру, Листницкий торопливо оделся. Офицеры вставали, зевая, поругиваясь.

— В чем дело?

— В большевиках!

— Господа, кто брал у меня патроны?

— Куда выступать?

— Вы слышите: стреляют?

— Кой чорт стреляют? У вас галлюцинация слуха!

Офицеры вышли во двор. Сотня перестраивалась во взводные колонны. Листницкий быстрым маршем вывел казаков со двора. Невский пустовал. Где-то действительно постукивали одиночные выстрелы. По Дворцовой площади раз'езжал броневик, патрулировали юнкера. Улицы берегли пустынную тишину. У ворот Зимнего казаков встретил наряд юнкеров и казачьи офицеры четвертой сотни. Один из них, командир сотни, отозвал Листницкого в сторону.

— Вся сотня с вами?

— Да. А что?

— Вторая, пятая и шестая не пошли, отказались, но пулеметная команда с нами. Как казаки?

Листницкий коротко махнул рукой.

— Горе! А первый и четвертый полки?

— Нет их. Те не пойдут. Вы знаете, что сегодня ожидается выступление большевиков? Чорт знает, что творится! — и тоскливо вздохнул: — Махнуть бы на Дон от всей этой каши...

Листницкий ввел сотню во двор. Казаки, составив винтовки в козлы, разбрелись по просторному, как плац, двору. Офицеры собрались в дальнем флигеле. Курили. Переговаривались.

Через час пришел полк юнкеров и Женский батальон. Юнкера разместились в вестибюле дворца, втащили туда пулеметы. Ударницы толпились во дворе. Слонявшиеся казаки подходили к ним, грязно подшучивали. Одну, кургузую, одетую в куцую шинель, урядник Аржанов шлепнул по спине.

— Тебе бы, тетка, детей родить, а ты на мущинском деле.

— Рожай сам! — огрызнулась басовитая неприветливая «тетка».

— Курвочки мои, любушки! И вы с нами? — приставал к ударницам старовер и бабник Тюковнов.

— Драть их, хлюстанок!

— Вояки раскоряченные!

— Сидели б по домам! Ишь, нужда вынесла!

— Двухстволки мирскова образца!

— Спереду — солдат, а сзаду — ни то поп, ни то чорт ево знает што... даже плюнуть охота!

— Эй, ты, ударная! Подбери-ка сиделку, а то ложем ахну!

Казаки гоготали, веселели, глядя на женщин. Но к полудню веселое настроение исчезло. Ударницы, разбившись на взводы, несли с площади

сосновые толстые брусья, баррикадировали ворота. Распоряжалась ими дородная, мужского покроя баба, с георгиевской медалью на хорошо подогнанной шинели. По площади чаще стал проезжать броневик, юнкера откуда-то несли во дворец ручные ящики с патронами и пулеметными лентами.

— Ну, станишники, держись!

— Выходит, што будем стражаться?

— А ты думал — как? Ударницев лапать тебя привели сюда?

Около Лагутина группировались земляки, букановцы и слащевцы. Они о чем-то совещались, переходили с места на место. Офицеры куда-то исчезли. Во дворе, кроме казаков и ударниц, не было никого. Почти у самых ворот стояли брошенные пулеметчиками пулеметы, щиты их мокро тускнели.

К вечеру посыпалась изморозь. Казаки заволновались.

— Што же это за порядки: завели — и держут на базу без продовольствия?!

— Надо Листницкова найтить.

— Ищи-свищи! Он во дворце, а юнкеря нашево брата туда не допущают.

— Надо за кухней посылать человека — пущай везут!

За кухней снарядили двух казаков.

— Валяйте без винтовок, а то посымают, — посоветовал Лагутин.

Кухню ждали часа два. Ни кухни, ни гонцов не было. Как оказалось, кухню, выезжавшую со двора, вернули солдаты-семеновцы. Перед сумерками ударницы, скопившиеся возле ворот, рассыпались густой цепью, лежа под брусьями начали постреливать куда-то через площадь Казаки участия в стрельбе не принимали, курили, нудились. Лагутин собрал сотню возле стены и, опасливо поглядывая на окна дворца, заговорил:

— Вот што, станишники! Нам тут делать нечево. Надо уходить, а то без вины пострадаем. Зачнут дворец обстреливать, а мы тут при чем? Офицеров — и след простыл... што ж мы, аль проклятые, што должны тут погибать? Айда домой, нечево тут стены обтирать! А Временное правительство... да на кой оно нам ляд приснилась! Как вы, станишники?

— Выйди с базу, а большевики и зачнут из пулеметов полоскать.

— Головы посымают!

— Не должно быть...

— Тогда разбирайся!

— Нет уж, будем сидеть до конца.

— Наше дело телячье, — поел да в закут.

— Кому как, а наш взвод уходит!

— И мы пойдем!

— К большакам людей направить — пущай они нас не трогают, а мы их не тронем.

Подошли казаки первой и четвертой сотни. Советовались недолго. Три казака, от каждой сотни по одному, вышли из ворот, а через час вернулись в сопровождении трех матросов. Матросы, перепрыгнув через брусья, наваленные у ворот, шагали по двору с деланно-развязным видом; подошли к казакам, поздоровались. Один из них, молодой черноусый красавец, в распахнутом бушлате и сдвинутой на затылок шапке, протиснулся в середину казачьей толпы.

— Товарищи казаки! Мы, представители революционного Балтийского флота, пришли за тем, чтобы предложить вам покинуть Зимний дворец. Вам нечего защищать чужое вам буржуазное правительство. Пусть его защищают буржуазные сынки, юнкера. Ни один солдат не встал на защиту Временного правительства, и ваши братья — казаки 1-го и 4-го полков — присоединились к нам. Кто желает итти с нами — отходи влево!

— Погоди, браток! — выступил вперед бравый урядник первой сотни. — Пойтить — мы с нашим удовольствием... а как нас большевики на распыл пустят?

— Товарищи! Именем Петроградского военно-революционного комитета мы обещаем вам полную безопасность. Никто вас не тронет.

Рядом с черноусым матросом стал другой, коренастый и рябоватый. Он оглядел казаков, поворачивая толстую бычью шею, ударил себя по обтянутой форменкой выпуклой груди:

— Мы вас будем сопровождать! Нечево, братишки, сомневаться, мы вам не враги и петроградские пролетарии вам не враги, а враги вот эти...

Он ткнул отставленным большим пальцем в сторону дворца и улыбнулся, оголив плотные злые зубы.

Казаки мялись в нерешительности, женщины-ударницы подходили, слушали, поглядывали на казаков и вновь шли к воротам.

— Эй, вы, бабы! Пойдете с нами? — крикнул бородатый казачина. Ответа не дождался.

— Разбирай винтовки — и ходу! — решительно сказал Лагутин.

Казаки дружно расхватали винтовки, построились.

— Пулеметы брать, што ли? — спросил у черноусого матроса казак-пулеметчик.

— Берите. Кадетам их не оставлять.

Перед уходом казаков появились в полном составе офицеры сотен. Стояли тесной кучей, глаз не сводили с моряков. Сотни, построившись,

тронулись. Впереди пулеметная команда везла пулеметы. Колесики мелко поскрипывали, тарахтели по мокрым камням. Матрос в бушлате шел рядом с головным взводом первой сотни. Высокий, белобрысый казак Федосеевской станицы держал его за рукав, виновато-растроганно говорил:

— Милый мой, аль нам охота против народа? Сдуру заплюхались сюда, а кабы знали, да рази же мы б пошли? — и сокрушенно мотал чубатой головой. — Верь слову — не пошли бы! Ей-бо!

Четвертая сотня шла последней. У ворот, где густо столпился весь Женский батальон, — заминка. Здоровенный казак, взобравшись на брусья, убеждающе и значительно трясет ногтистым черным пальцем.

— Вы, стрелки, слухайте сюда! Вот мы зараз уходим, а вы, по своей бабьей глупости, остаетесь. Ну, так вот, штоб без дуростев! Ежли зачнете в спину нам стрелять, — вернемся и перерубим всех на мелкое крошево. Толково гутарю? Ну, то-то. Прощевайте покедова!

Он соскакивает с брусьев, рысью догоняет своих, время от времени поглядывает назад.

Казаки доходят почти до середины площади. Оглянувшись, один взволнованно говорит:

— Гля, ребята! Офицер нам вдогон!

Многие на ходу поворачивают головы, смотрят. По площади бежит, придерживая шашку, высокий офицер. Он машет рукой.

— Это — Атарщиков, третьей сотни.

— Какой?

— Высокий, ишо родинка у него на глазу.

— Надумал уходить с нами.

— Он славный парнюга.

Атарщиков быстро настигает сотню, издали видно, как на лице его дрожит улыбка. Казаки машут руками, смеются.

— Нажми, господин сотник!

— Шибче!

От дворцовых ворот — сухой одинокий щелчок выстрела. Атарщиков широко взмахивает руками и, запрокидываясь, падает на спину, мелко сучит ногами, бьется о мостовую, пытается встать. Сотни, как по команде, разворачиваются лицом к дворцу. У повернувшихся пулеметов — на коленях номера. Шорох лент. Но возле дворцовых ворот, за сосновыми брусьями, — ни души. Ударниц и офицеров, минуту назад толпившихся там, выстрел будто слизал. Сотни опять торопливо строятся, идут, уже ускоряя шаг. Двое казаков последнего взвода возвращаются от места, где лежит Атарщиков. Громко, чтобы слышала вся сотня, один кричит:

— Кусануло его под левую лопатку. Готов!

Шаг в ногу звучит тремуче и четко. Матрос в бушлате командует:

— Левое плечо вперед... арш!..

Сотни, извиваясь, сворачивают влево. Молчанием провожает их притихший сугорбленный дворец.

XX

Теплилась осень. Перепадали дожди. Над Быховым редко показывалось обескровленное солнце. В октябре начался отлет дикой птицы. Даже ночами звенел над прохладной, черной землей журавлиный горько волнующий зов. Спешили перелетные станицы, уходя от близких заморозков, от знобких в вышине северных ветров.

Быховские заключенные, арестованные по делу Корнилова, ждали суда полтора месяца. За это время жизнь их в тюрьме как-то отстоялась и приняла, если не совсем обычные, то все же своеобразно-твердые формы. По утрам, после завтрака, генералы шли на прогулку, возвращаясь, разбирали почту, принимали навещавших их родных и знакомых, обедали, после «мертвого» часа порознь занимались в своих комнатах, вечерами обычно собирались у Корнилова, подолгу беседовали и совещались.

В женской гимназии, преобразованной в тюрьму, все же жили не без комфорта.

Наружную охрану несли солдаты Георгиевского батальона, внутреннюю — текинцы. Но охрана эта если до некоторой степени и стесняла свободу заключенных, то взамен являла весьма существенное преимущество: была построена так, что в любой момент арестованные могли, при желании, легко и безопасно бежать. За все время пребывания в быховской тюрьме они беспрепятственно сносились с внешним миром, давили на буржуазную общественность, требуя ускорения следствия и суда, заметали следы мятежа, прощупывали настроения офицерства и на худой конец готовились к побегу.

Корнилов, озабоченный удержанием возле себя преданных ему текинцев, снесся с Калединым, и тот, по его настоянию, спешно отправил в Туркестан голодавшим семьям текинцев несколько вагонов хлеба. За помощью для семей офицеров — участников корниловского выступления — Корнилов обратился с письмом весьма резкого содержания к крупным банкирам Москвы и Петрограда; те не замедлили выслать несколько десятков тысяч рублей, опасаясь невыгодных для себя разоблачений. С Калединым у Корнилова до ноября не прерывалась длительная переписка. В пространном письме, отправленном Каледину в середине октября, он запрашивал о положении на Дону и о том, как

отнесутся казаки к его приезду туда. Каледин прислал положительный ответ...

Октябрьский переворот колыхнул почву под ногами быховских заключенных. На другой же день во все стороны полетели гонцы, и уже через неделю отголоском чьей-то тревоги за участь заключенных прозвучало письмо Каледина, адресованное верховному главнокомандующему генералу Духонину, в котором он настоятельно просил Корнилова и остальных арестованных на поруки. С такой же просьбой обращались в ставку совет союза казачьих войск и главный комитет союза офицеров армии и флота. Духонин медлил.

1 ноября Корнилов отправил ему письмо. Заметки Духонина на полях письма — яркое свидетельство о том, как бессильна была ставка, к тому времени фактически уже утратившая всякую власть над армией, доживавшая в прострации последние дни.

«Милостивый Государь,
Николай Николаевич!

Вас судьба поставила в такое положение, что от Вас зависит изменить исход событий, принявших гибельное для страны направление, главным образом, благодаря нерешительности и попустительству старшего командного состава. Для Вас наступает минута, когда люди должны или дерзать, или уходить, иначе на них ляжет ответственность за гибель страны и позор за окончательный развал армии.

По тем неполным отрывочным сведениям, которые доходят до меня, положение тяжелое, но еще не безвыходное. Но оно станет таковым, если Вы допустите, что ставка будет захвачена большевиками, или же добровольно признаете их власть.

Имеющихся в Вашем распоряжении Георгиевского батальона, наполовину распропагандированного, и слабого Текинского полка далеко не достаточно.

Предвидя дальнейший ход событий, я думаю, Вам необходимо безотлагательно принять такие меры, которые, прочно обеспечивая ставку, дали бы благоприятную обстановку для организации дальнейшей борьбы с надвигающейся анархией.

Таковыми мерами я считаю:

1. Немедленный перевод в Могилев одного из Чешских полков и Польского уланского полка.

Пометка Духонина. Ставка не считает их вполне надежными. Эти части одни из первых пошли на перемирие с большевиками.

2. Занятие Орши, Смоленска, Жлобина и Гомеля частями Польского корпуса, усилив дивизии последнего артиллерией за счет казачьих батарей фронта.

Пометка. Для занятия Орши и Смоленска сосредоточена 2-я Кубанская дивизия и бригада астраханских казаков. Полк 1-й Польской дивизии из Быхова нежелательно брать для безопасности арестованных. Части 1-й дивизии имеют слабые кадры и потому не представляют реальной силы. Корпус определенно держится того, что не вмешиваться во внутренние дела России.

3. Сосредоточение на линии Орша — Могилев — Жлобин всех частей Чешско-Словацкого корпуса, Корниловского полка, под предлогом перевозки их на Петроград и Москву, и одной-двух казачьих дивизий из числа наиболее крепких.

Пометка. Казаки заняли непримиримую позицию — не воевать с большевиками.

4. Сосредоточение в том же районе всех английских и бельгийских броневых машин, с заменой прислуги их исключительно офицерами.

5. Сосредоточение в Могилеве и в одном из ближайших к нему пунктов, под надежной охраной, запаса винтовок, патронов, пулеметов, автоматических ружей и ручных гранат для раздачи их офицерам и волонтерам, которые обязательно будут собираться в указанном районе.

Пометка. Это может вызвать эксцессы.

6. Установление прочной связи и точного соглашения с атаманами Донского, Терского и Кубанского войск и с комитетами польским и чехо-словацким. Казаки определенно высказались за восстановление порядка в стране, для поляков же и чехов вопрос восстановления порядка в России — вопрос их собственного существования».

С каждым днем все тревожнее приходили вести. В Быхове нарастало беспокойство. Между Могилевым и Быховым сновали автомобили доброжелателей Корнилова, требовавших у Духонина освобождения заключенных. Казачий совет прибегал даже к скрытым угрозам.

Духонин, подавленный тяжестью надвигавшихся событий, только теперь осознавший ту безмерную ответственность, которую взвалил на свои плечи, приняв верховное главнокомандование, — колебался. 18 ноября он отдал распоряжение об отправке заключенных на Дон, но сейчас же отменил его.

На другой день утром к главному под'езду быховской гимназии-тюрьмы подкатил густо забрызганный грязью автомобиль. Шофер с подобострастной предупредительностью распахнул дверцу, и из автомобиля вышел немолодой складный офицер. Он пред'явил караульному офицеру документы на имя полковника генштаба Кусонского.

— Я из ставки. Имею личное поручение к арестованному генералу Корнилову. Где я могу видеть коменданта?

Комендант — подполковник Текинского полка Эргардт — немедленно провел приехавшего к Корнилову. Кусонский, представившись, подчеркнуто, с чуть заметной аффектацией доложил:

— Через четыре часа Крыленко приедет в Могилев, который будет сдан ставкой без боя. Генерал Духонин приказал вам передать, что всем заключенным необходимо сейчас же покинуть Быхов.

Расспросив Кусонского о положении в Могилеве, Корнилов пригласил подполковника Эргардта. Тяжело опираясь пальцами левой руки о край стола, сказал:

— Немедленно освободите генералов. Текинцам изготовиться к выступлению к двенадцати часам ночи. Я иду с полком.

Весь день в походной кузне хрипели, задыхаясь, мехи, рдяным светом сочился раскаленный уголь, звенели молотки, у станков зло визжали кони. Текинцы на полный круг ковали лошадей, чинили сбрую, чистили винтовки, готовились.

Днем генералы по одиночке покинули место заключения. А в волчью, глухую полночь, когда маленький провинциальный городишко, затушив огни, спал беспросыпно-крепко, со двора быховской гимназии, по три в ряд, стали выезжать всадники. Вороненые силуэты их рельефно, как вылепленные, маячили на фоне стального неба. Всадники, похожие на нахохленных черных птиц, ехали, надвинув высокие папахи, зябко горбились в седлах, кутали в башлыки масляно-смуглые лица. В середине полковой колонны, рядом с командиром полка полковником Кюгельгеном, на высоком поджаром коне сутуло качался Корнилов. Он морщился от холодного, плутавшего по быховским уличкам ветра, щурил узенькие прорези глаз на морозное вызвездившееся небо.

Воркующий чокот свежекованных конских копыт прохрустел по улицам и, немея, заглох на окраине. Ночь захлебнулась тишиной.

XXI

Полк отступал вторые сутки. Медленно, с боями, но отступал. По возвышенным грунтовым дорогам тянулись обозы русской и румынской армий. Об'единенные австро-германские части охватывали отступавших глубоким фланговым обходом, пытались сомкнуть кольцо.

К вечеру стало известно, что 12-му полку и соседней с ним румынской бригаде грозит окружение. Противник на закате солнца выбил румын из деревни Ховинески и уже продвинулся до высот «480», что граничат с Голшским перевалом.

Ночью 12-й полк, подкрепленный батареей конно-горного дивизиона, получил приказ занять позиции в низовьях Голшской долины. Полк, выставив сторожевое охранение, приготовился к встречному бою.

В эту ночь Мишка Кошевой и хуторянин его, чурбаковатый Алексей Бешняк, были в секрете. Таились в ярке возле покинутого обвалившегося колодца, вдыхая разреженный морозом воздух. По облачному мохнатому небу изредка протекала припозднившаяся шайка диких гусей, сторожкими криками отмечавшая свое направление. Кошевой, с досадой вспоминая, что курить нельзя, тихо шелестел:

— Чудная жизнь, Алексей!.. Ходют люди ощупкой, как слепые, сходются и расходются, иной раз топчут один одново... Поживешь вот так, возле смерти, и диковинно становится, на што вся эта мура? По-моему, страшней людской середки ничево на свете нету, ничем ты ее до дна не просветишь... Вот я зараз лежу с тобой, а не знаю, об чем ты думаешь, и сроду не узнаю, и какая у тебя сзади легла жизня — не знаю, а ты обо мне не знаешь... Может, я тебя зараз убить хочу, а ты вот мне сухарь даешь, ничево не подозреваешь... Люди про себя мало знают. Был я летом в госпитале. Рядом со мной солдат лежал, московский родом. Так он все дивовался, пытал, как казаки живут, што да чево. Они думают — у казака одна плетка, думают — дикой казак и замест души у него бутылошная склянка, а ить мы такие же люди: и баб так же любим и девок милуем, своему горю плачем, чужой радости не радуемся... Ты как, Алешка? Я, парень, жадный до жизни стал — как вспомню, сколько на свете красивых баб, аж сердце защемит! Вздумаю, што мне их всех сроду не придется облюбить, — и кричать хочу с тоски! Такой я нежный до баб стал, што каждую бы до болятки миловал... Крыл бы и летучую и катучую, лишь бы красивая была... А то тоже с большова ума приладили жизню: всучут одну тебе до смерти — и мусоль ее... нешто не надоисть? Ишо воевать вздумали, и так...

— Мало тебя в спину колюли, бугай идолов! — беззлобно поругивался Бешняк.

Кошевой, запрокинувшись на спину, молчал; долго глядел в вышнюю пустошь и, мечтательно улыбаясь, волнующе-нежно ласкал руками нахолодавшую, неприступно-равнодушную землю.

За час до смены взяли их немцы. Бешняк, успевший выстрелить, присел, скрежеща зубами, сгинаясь в смертном поклоне: немецкий ножевой штык искромсал ему внутренности, распорол мочевой пузырь

и туго дрогнул, воткнувшись в позвоночник. Кошевого положили прикладом. С полверсты его тащил на себе плотный ландштурмист. Мишка очнулся, почувствовав, что захлебывается кровью, передохнул и, собравшись с силами, без особого труда сорвался со спины немца. По нем ударили залпом, но ночь и кустарник выручили — бежал.

После того как отступление приостановилось и русско-румынские части вышли из мешка, 12-й полк был снят с позиций, брошен в тыл, левее своего участка на несколько верст. Был об'явлен приказ по полку: нести заградительную службу, выставлять дозоры на дорогах, следить, чтобы в тыл не уходили дезертиры, задерживать их, не стесняясь применением оружия, и под конвоем направлять в штаб дивизии.

Мишка Кошевой в числе первых попал в наряд. Он и еще трое казаков с утра вышли из деревушки и, по указанию вахмистра, расположились в конце кукурузного поля, неподалеку от дороги. Дорога, обегая перелесок, скрывалась в холмистой, исполосованной квадратами пахоты равнине. Казаки наблюдали поочередно. После полудня заметили группу, человек в десять, солдат, подвигавшихся по направлению на них. Солдаты шли, имея явное намерение обойти видневшуюся под изволоком деревушку. Поравнявшись с перелеском, они остановились, закурили, очевидно, совещаясь, потом пошли, круто изменив направление, под прямым углом свернув влево.

— Шумнуть им? — поднимаясь из зарослей кукурузных будыльев, спросил у остальных Кошевой.

— Стрельни вверх.

— Эй, вы! Стойте!

Солдаты, находившиеся от казаков на расстоянии нескольких десятков сажен, заслыша крик, на минуту остановились и вновь, словно нехотя, тронулись вперед.

— Сто-о-ой! — крикнул один из казаков, раз за разом выпуская вверх обойму.

С винтовками на перевес казаки догнали медленно шагавших солдат.

— Чорта ли не стоите? Какой части? Куда идете? Документы! — подбежав, крикнул урядник Колычев, начальник поста.

Солдаты остановились. Трое неспешно сняли винтовки. Задний нагнулся, перевязывая шмотком телефонной проволоки оторванную подошву сапога. Все они были невероятно оборваны, грязны. На полах шинелей щетинились коричневые кожушки череды, — видно, валялись эту ночь в лесу, в зарослях. На двух были летние фуражки, на остальных грязно-серые вязаной смушки папахи, с расстегнутыми отворотами и болтающимися матузками завязок. Передний, как видно, во-

жак, высокий и по-стариковски сутулый, дрожа дряблыми сумками щек, закричал злым гундосым голосом:

— Вам чего? Мы вас трогаем? Чего вы привязываетесь-то?

— Документы! — напуская на себя строгость, перебил его урядник.

Солдат, голубоглазый и красный, как свежеобожженный кирпич, достал из-за пояса бутылочную гранату, помахивая ею перед носом урядника, оглядываясь на товарищей, зачастил ярославской скорого-воркой:

— Вот, малый, те документ! Вот! Это тебе на весь год мандат! Береги жизнь, а то как ахну — печенки-селезенки не соберешь. Понял? Понял, что ли? Понял?..

— Ты не балуй! — толкая его в грудь, хмурился урядник. — Не балуй и не стращай нас, мы и так пужаные. А раз вы дезертиры, — поворачивай в штаб. Там таких супцов до рук прибирают.

Переглянувшись, солдаты сняли винтовки. Один из них, темноусый и испитой, по виду шахтер, шепнул, переводя отчаянные глаза с Кошевого на остальных казаков:

— Вот как возьмем вас, такую вашу мать, в штыки!.. А ну прочь! Отойди! Ей-богу, сейчас первому пулю всажу!..

Голубоглазый солдат кружил над головой гранату; высокий, сутулый, шедший передом, царапнул ржавым жалом штыка сукно урядницкой шинели; похожий на шахтера матерился и замахивался на Мишку Кошевого прикладом, а у того палец дрожал на спуске и прыгало прижатое к боку локтем ложе винтовки; один из казаков, ухватив небольшого солдатишку за отвороты шинели, возил его на вытянутой руке и боязливо оглядывался на остальных, опасаясь удара сзади.

Шуршали на кукурузных будыльях сохлые листья. За холмистой равниной переливами синели отроги гор. Около деревушки по пажитям бродили рыжие коровы. Ветер клубил за перелеском морозную пыль. Сонлив и мирен был тусклый октябрьский день; благостным покоем, тишиной веяло от забрызганного скупым солнцем пейзажа. А неподалеку от дороги в бестолковой злобе топтались люди, готовились кровью своей травить сытую от дождей обсемененную, тучную землю.

Страсти улеглись немного, и, пошумев, солдаты и казаки стали разговаривать мирнее.

— Мы трое суток, как с позиций снялись! Мы не по тылам ходили! А вы бегаете, совестно! Товарищей кидаете! Кто же фронт держать будет? Эх, вы, люди!.. У меня вон у самово товарища под боком закололи — в секрете с ним были, а ты говоришь, што мы

войны не нюхали. Понюхай ты ее так, как мы нюхали! — озлобленно говорил Кошевой.

— Чево там распотякивать! — перебил его один из казаков: — Идем в штаб — и безо всяких!

— Ослобоните дорогу, казаки! А то, видит бог, стрелять будем! — убеждал солдат шахтерского вида.

Урядник сокрушенно разводил руками:

— Не могем мы исделать этова, браток! Нас побьете — все одно уйтить вам не придется: вон в деревне наша сотня стоит...

Высокий, сутулый солдат то грозил, то уговаривал, то начинал униженно просить. Под конец он, суетясь, достал из грязного подсумка бутылку, оплетенную соломой и, заискивающе мигая Кошевому, зашептал:

— Мы вам, казачки, и деньжонок прикинем и вот... водка немецкая... еще чего-нибудь соберем... Отпустите, ради Христа... Дома детишки, сам понимаешь... Измотались все, тоской изошли... До каких же пор?.. Господи!.. Неужели не отпустите? — Он торопливо достал из голенища кисет, вытряхнул из него две помятых керенки, настойчиво стал совать их в руки Кошевого. — Бери, бери! Фу, божа мой!.. Да ты не сомневайся... мы перебьемся и так!.. Деньга — это ничего... без нее можно... Бери! Еще соберем...

Опаленный стыдом, Кошевой отошел от него, пряча за спину руки, мотая головой. Кровь с силой кинулась ему в лицо, выжала из глаз слезы: «Через Бешняка озлел... Што ж это я... сам против войны, а людей держу,— какие же права имеют?.. Мать честная, вот так набороздил! Этакая я псюрня!».

Он подошел к уряднику и отвел его в сторону, не глядя в глаза, спросил:

— Давай их пустим! Ты как, Колычев? Давай, ей-богу!..

Урядник, тоже блудя взглядом, будто совершал в этот миг что-то постыдное, проговорил:

— Пущай идут... Чорта ли с ними делать? Мы сами скоро вокат на такой дистанцеи будем... Чево уж греха таить!

И, повернувшись к солдатам, крикнул негодующе:

— Подлюки! С вами, как с добрыми, со всей увежливостью, а вы нам денег? Да што у нас своих мало, што ль? — и побагровел: — Хорони кошельки, а то в штаб попру!..

Казаки отошли в сторону. Поглядывая на далекие пустые улички деревушки, Кошевой крикнул уходившим солдатам:

— Эй! Кобылка! Куда ж вы на чистое претесь? Вон лесок, переднюйте в нем, а ночью дальше! А то ить на другой пост нарветесь, — заберут!

Солдаты поглядели по сторонам, пожались в нерешительности и, как волки, гуськом, грязно-серой цепкой потянулись в залохматевшую осинником ложбинку.

В первых числах ноября стали доходить до казаков разноречивые слухи о перевороте в Петрограде. Штабные ординарцы, обычно осведомленные лучше всех, утверждали, что Временное правительство бежало в Америку, а Керенского поймали матросы, остригли наголо и, измазав дегтем, как гулящую девку, два дня водили по улицам Петрограда.

Позже, когда было получено официальное сообщение о свержении Временного правительства и переходе власти к большевикам, казаки настороженно притихли. Многие радовались, ожидая прекращения войны, но тревогу вселяли глухие отголоски слухов, что 3-й конный корпус вместе с Керенским идет на Петроград, а с юга подпирает Каледин, успевший заблаговременно стянуть на Дон казачьи полки.

Фронт рушился. Если в октябре солдаты уходили разрозненными, неорганизованными кучками, то в конце ноября с позиций плановым порядком, снимались роты, батальоны, полки; иные уходили налегке, но большей частью забирали полковое имущество, разбивали склады, постреливали офицеров, попутно грабили и раскованной, буйной, половодной лавиной катились на родину.

В сложившейся обстановке было бессмысленно назначение 12-го полка задерживать дезертиров, и полк — после того как его вновь кинули на позиции, тщетно пытаясь затыкать те дыры и прорехи, которые образовала пехота, бросавшая свои участки,— в декабре снялся с позиций, походным порядком дошел до ближайшей станции и, погрузив все полковое имущество, пулеметы, запасы патронов, лошадей, тронулся внутрь перекипавшей в боях России...

Через Украину двигались эшелоны 12-го полка на Дон. Неподалеку от Знаменки полк пытались разоружить большевики. Переговоры длились полчаса. Кошевой и еще пятеро казаков — председателей сотенных ревкомов — просили пропустить их с оружием.

— Зачем вам оружие? — допытывались члены станционного совдепа.

— Своих буржуев и генералов бить! Каледину хвост ломать! — за всех отвечал Кошевой.

— Оружие наше, войсковое, не дадим! — волновались казаки.

Эшелоны пропустили. В Кременчуге вновь пытались обезоружить. Согласились пропустить, лишь когда казаки-пулеметчики, установив у открытых дверей вагонов пулеметы, взяли под прицел станцию, а одна из сотен, рассыпавшись цепью, легла за полотном. Под Екатеринославом не помогла и перестрелка с красногвардейским отрядом, — полки все же частично обезоружили: взяли пулеметы, более сотни ящиков патронов, аппараты полевого телефона и несколько катушек проволоки. На предложение арестовать офицеров казаки ответили отказом. За всю дорогу потеряли лишь одного офицера — полкового ад'ютанта Чирковского, которого приговорили к смерти сами казаки, а привели в исполнение приговор Чубатый и какой-то красногвардеец-матрос. Перед вечером 17 декабря на станции Синельниково казаки вытащили ад'ютанта из вагона.

— Этот самый предавал казаков? — весело спросил вооруженный маузером и японской винтовкой щербатый матрос-черноморец.

— Ты, ты думал — мы опознались? Нет, мы не промахнулись, ево вытянули! — задыхаясь, говорил Чубатый.

Ад'ютант, молодой под'есаул, затравленно озирался, гладил волосы потной ладонью и не чувствовал ни холода, жегшего лицо, ни боли от удара прикладом. Чубатый и матрос немного отвели его от вагона.

— Через таких вот чертей и бунтуются люди, и революция взыграла через таких... У-у-у, ты, коханный мой, не трясись, а то осыпешься! — пришептывал Чубатый и, сняв фуражку, перекрестился.

— Держись, господин под'есаул!

— Приготовился? — играя маузером и шалой белозубой улыбкой, спросил Чубатого матрос.

— Го-то-ов!

Чубатый еще раз перекрестился, искоса глянул, как матрос, отставив ногу, поднимает маузер и сосредоточенно жмурит глаз, и, сурово улыбаясь, выстрелил первый.

Под Чаплином полк случайно ввязался в бой, происходивший между анархистами и украинцами, потерял трех казаков убитыми и насилу прорвался, с большим трудом прочистив путь, занятый эшелонами какой-то стрелковой дивизии.

Через трое суток головной эшелон полка уже выгружался на станции Миллерово. Остальные застряли в Луганске.

Полк в половинном составе (остальные раз'ехались по домам еще со станции) пришел в хутор Каргин. На другой день с торгов продавали трофеи: приведенных с фронта отбитых у австрийцев лошадей, делили денежные суммы полка, обмундирование.

Кошевой и остальные казаки с хутора Татарского выехали домой вечером. Поднялись на гору. Внизу, над белесым ледяным извивом Чира, красивейший в верховьях Дона, лежал хутор Каргин. Из трубы паровой мельницы рассыпчатыми мячиками выскакивал дым, на площади чернели толпы народа, звонили к вечерне. За каргинским бугром чуть виднелись макушки верб хутора Климовского, за ними, за полынной сизью оснеженного горизонта, искрился и багряно сиял дымный распластавшийся в полнеба закат.

Восемнадцать всадников миновали курган, подпиравший три об'иневших диких яблоньки, и свежей рысью, поскрипывая подушками седел, пошли на северо-восток. Морозная воровски таилась за гребнем ночь. Казаки, кутаясь в башлыки, временами переходили на полевой намет. Резко, звучно до боли щелкали подковы. На юг текла из-под конских копыт накатанная дорога; по бокам ледянистая пленка снега, прибитого недавней ростепелью, держалась, цепляясь за травяные былки, при свете месяца блестела и переливалась меловым текучим огнем.

Казаки молча торопили коней. Стекала на юг дорога. Кружился на востоке в дубовеньком баераке лес. Мелькали сбочь конских ног филейные петли заячьих следов. Над степью наборным казачьим поясом чеканом лежал нарядно перепоясавший небо Млечный путь.

(Конец четвертой части)

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

АНРИ БАРБЮС — „Халлали“ (рассказ) 3

АННА КАРАВАЕВА — Лесозавод (роман), окончание 7

СТИХИ — Л. Архангельского (Брянского), Д. Алтаузена, М. Светлова . . . . . 45—50

МИХ. ШОЛОХОВ — Тихий Дон (роман), продолжение 51

СТИХИ — В. Маяковского . . . . . 157—163

ЖИЗНЬ НА ХОДУ

Н. ДОРОФЕЕВ — В новом доме 164

ЛИТЕРАТУРА

Л. МЫШКОВСКАЯ — Как Толстой работал над историческом произведением . . . 191

БЕНИТО БУАЧИДЗЕ — Грузинская пролетарская литература 215

БИБЛИОГРАФИЯ

А. Глебов, Ек. Трощенко, А. Селивановский . . . . . 220—239